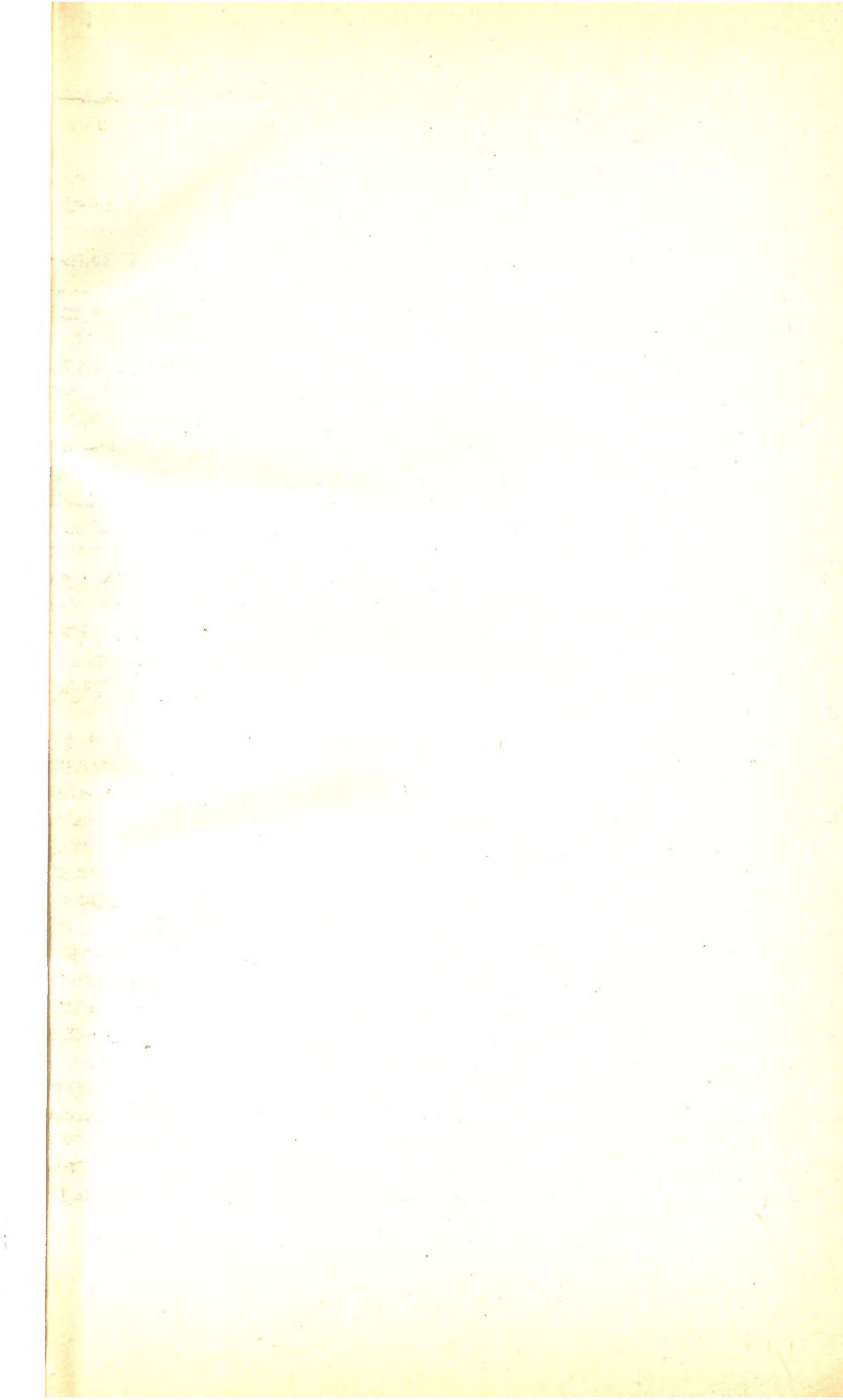


# НОДАР ЛУМБАДЗЕ

ГОЛОС ДОБРЫЙ











# **ФУДАР ДУМБАДЗЕ ГОЛОС ДОБРЫЙ**



**РАССКАЗЫ  
ПОВЕСТЬ  
ПУБЛИЦИСТИКА**

**МОСКВА  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»  
1984**

84 Гр  
Д 82

Перевод с грузинского  
З. Ахвледиани, А. Златкина

Иллюстрации  
Е. Марковича

Д  $\frac{4702170200-993}{080(02)-84}$  993-84

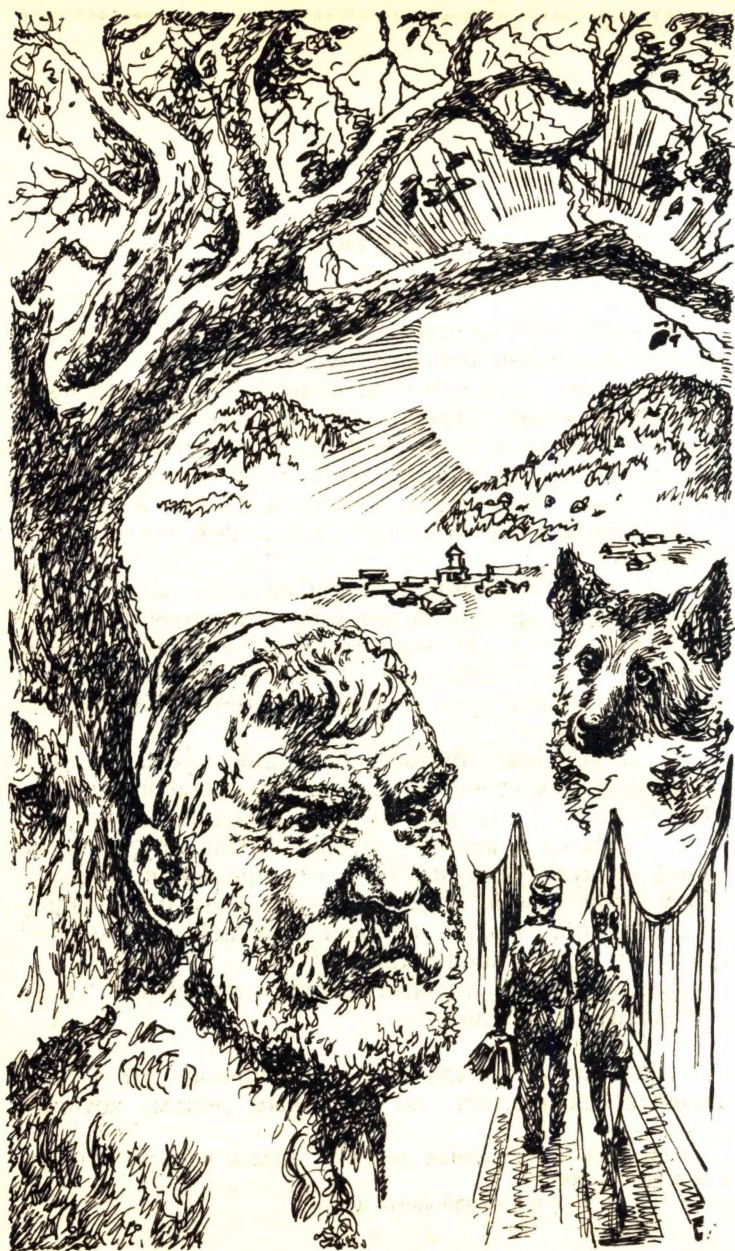
84 Гр

© Издательство «Правда». 1984.  
Составление. Иллюстрации.

# РАССКАЗЫ







## СОБАКА

История эта началась в августе сорок первого и закончилась ровно два года спустя.

...Суровое дыхание войны наше село почувствовало уже через месяц. Привыкший к зажиточной жизни колхозник не смог сразу осмыслить всего ужаса происшедшего, не рассчитал своих возможностей, и случилось так, что амбары, кувшины и лари во многих домах опустели уже в августе, а в нашем доме — и того раньше...

Измученный водянкой дед Спиридон дни и ночи просиживал у камина, и все заботы по хозяйству легли на мои плечи. Да что хозяйство! У меня и сейчас начинает ломить спина, как вспомню, сколько я тогда натаскал из лесу дров и хвороста: пропал бы бедный старик без тепла.

25 августа был съеден последний кусок мчади<sup>1</sup>. Дед извлек из стенного шкафа закупоренную кочерыжкой десятилитровую бутылку с водкой и сказал:

— Положи в корзину, ступай в Чохатаури<sup>2</sup> и обменяй на пуд кукурузы. Того, кто предложит меньше, облей этой самой водкой, разбей бутылку и возвращайся домой... Водка тутовая, и в ней восемьдесят градусов, надо ж понимать!.. Вот так.

Дед грустными глазами взглянул на бутылку, тяжело вздохнул и добавил:

— Ступай!

...Разбивать бутылку мне не пришлось. На базаре нашелся специалист по водочным делам, который

---

<sup>1</sup> Мчади — кукурузная лепешка. (Здесь и далее примечания переводчика.)

<sup>2</sup> Чохатаури — районный центр.



вмиг оценил достоинства моего товара. Он без лишних слов отсыпал мне в мешок пуд отборной желтой кукурузы, всунул в карман красную тридцатку, погладил по щеке и велел явиться на следующей неделе.

Спустя минуту я стоял в столовой напротив базара.

— Котлеты есть? — спросил я буфетчика.

— А деньги у тебя есть? — в ответ спросил буфетчик.

— Есть!

— Сколько?

— Тридцать рублей!

— Покажи!

— Вот!

— Садись. Сейчас принесу.

— Три порции! — сказал я, снял со спины корзину и присел к столу.

— Ты что, парень, тронулся? — искренне удивился буфетчик.

— Нет, проголодался! — объяснил я.

— С картошкой или с макаронами?

— Две порции с макаронами и одну — с картошкой. Каждую отдельно!

— Лимонаду сколько?

— Три! — ответил я и заранее отпустил пояс.

Буфетчик подозрительно взглянул на меня, но промолчал. Поставив на стол три тарелки с котлетами и три бутылки лимонада, он ласково спросил:

— Куда ты девал ту тридцатку, а, парень?

— Вот она! — с достоинством ответил я, показывая деньги.

Буфетчик взял тридцатку, пощупал, посмотрел ее на свет, потом распахнул грязный халат, расстегнул карман еще более грязной блузы и опустил ее туда.

— Ты свободен! — сказал он с улыбкой и ушел.

В столовую забрела длинная, приземистая, тощая черная собака с ввалившимися боками. Она несколько раз прошлась по комнате, искоса поглядывая на меня, потом, осмелев, подошла ближе. Пожалев котлетку, я бросил собаке макаронину. Она на лету схва-

тила ее и проглотила. Я бросил еще. Через минуту, решив привлечь мое внимание, собака несмело тявкнула.

— Вон отсюда, паршивая! — прикрикнул на собаку буфетчик.

— Как ее звать? — спросил я.

— А черт ее знает!

— Чья она?

— А я почему знаю, пропади она вместе с хозяином! Пошла вон! — замахнулся на собаку буфетчик.

Поджав хвост, собака бросилась на улицу.

...Покончив с едой, я взял свою корзину и направился к двери.

— Сдачи не полагается? — спросил я буфетчика на всякий случай.

— Еще чего! — скривился он.

— Совсем ничего? — не сдавался я.

— Иди, парень, иди с богом!

При выходе из столовой я увидел давешнюю собаку — опасливо оглядываясь, она вновь приближалась к двери.

Не успел я сделать и десяти шагов, как услышал душераздирающий визг и вой собаки. Затем она промчалась мимо меня, бросилась в воду под мостом, тут же выскочила на берег и с жалобным тявканьем стала кататься в песке.

Я обернулся к столовой. В дверях стоял буфетчик с котелком в руке. Из котелка поднимался пар.

— Ошпарил собаку? — спросил я.

— Нет, чуть подогрел ей лапы! — глупо улыбнулся он.

— Осел ты! И отец твой — осел! — крикнул я.

Буфетчик остолбенел. С минуту он молча глядел на меня, наливаясь злобой, потом поставил котелок на землю, засучил правый рукав и медленно направился ко мне.

— Подожди-ка меня там! — прохрипел он.

Я спокойно снял со спины корзину, нагнулся и поднял у края дороги здоровенный камень.

Буфетчик остановился словно вкопанный. Он постоял, постоял, потом покачал головой и убрался во-свояси.

Собака лежала под мостом, уткнувшись ошпаренной мордой в передние лапы, и жалобно скулила. Увидев меня, она умолкла, потом негромко заворчала. Я подошел ближе, пригляделся. Правая лапа бедняги также была ошпарена.

— Ну-ка дай поглядеть на тебя! — сказал я и присел перед ней на корточки.

«Эх, что это вы со мной сделали!» — всхлипнула она. Из левого, неповрежденного глаза собаки текли слезы. Я снял рубашку, разорвал ее пополам, смочил в воде и перевязал собаке глаз, потом лапу. Почувствовав облегчение, она благодарно взглянула на меня и опять заплакала. И тут я не выдержал, сел на песок и тоже заплакал. А собака — даром что животное: она прекрасно понимает, почему плачет человек. Искалеченный пес подполз ко мне и ласково ткнулся мордой в мои колени...

...Помню, однажды — было мне тогда лет четырнадцать, — когда дочь Гервасия Джабуа — Тину выдали замуж за Арсена Сиамашвили из села Набеглави, я впервые взмолился богу: «Боже, прибавь мне шесть лет, и не видеть Арсену красавицы Тины...» И теперь я опять мысленно попросил: «Боже, дай мне силы справиться с буфетчиком, а потом хоть убей меня!..» И никогда, никогда я так сильно не жаждал исполнения своей мечты, как теперь, сидя под мостом в обнимку с бездомной собакой...

— Что это такое?! — удивленно воскликнул дед, когда я извлек из корзины ошпаренного пса.

— Собака! — ответил я.

— Дрянь какая-то, а не собака! — плюнул дед.

— Ничего не дрянь! Это буфетчик ее ошпарил кипятком!

— Заслужила, значит. Ворюга!

— Голодная она! — вступился я за собаку.

— Ну-каними тряпки!

Я снял повязку, и дед осмотрел собаку.

— Мда-а, не вовремя ее ошпарил душегуб! В жару раны заживают долго... Принеси-ка топленое масло, смажем ей больные места... Ну, лапу-то она сама себе вылечит, а вот с глазом...



...На другое утро в нашем дворе уже раздавался собачий лай. Несмело и негромко, но собака лаяла...

Как только мы ее не называли — Джек, Джульбарс, Беляк, Мурка, — собака не отзывалась ни на какую кличку. Тогда мы решили звать ее просто Собака. Спустя месяц у нее зажила лапа, затянулась рана на морде. Ошпаренные места покрылись новой густой шерстью. И стала она веселой и красивой собакой, каких и вовсе не было на селе.

Особыми талантами, сказать по правде, она не отличалась, но вообще-то соображала неплохо: детей и женщин не трогала, среди всех деревенских кур хорошо отличала нашу единственную несущку и даже оказывала ей благосклонное покровительство. Что же касается мужчин — кроме меня и деда, она не признавала на селе ни одного мужчину. Я был уверен — ненависть к мужскому полу вспыхнула в Собаке в день, когда буфетчик так безжалостно ошпарил ее.

Соседи часто жаловались деду:

— Что же это получается, Спиридон! Уже и в гости к тебе нельзя зайти! И где ты его откопал, паршивого пса! Птичку к дереву не подпустит, проклятый! Прогнал бы его к чертям или хоть посадил на цепь, что ли!

Дед только улыбался. Он так подружился с Собакой, что прогнал бы из дому скорее меня, чем ее. Собака чувствовала это. Изредка, когда я ходил в лес за дровами или ночью — на мельницу, она шла за мной, все же остальное время лежала в ногах у деда и с благоговением ждала его приказов, глядя на него грустными влюбленными глазами. Стоило упасть с дерева яблоку или груше, Собака срывалась с места и, опережая свинью, мчалась к дереву, хватала плод зубами и приносила деду. Дед ласково гладил ее по шее, потом очищал плод, съедал его, а кожурой угощал Собаку. И она ела кожуру с необыкновенным удовольствием, — а ведь под деревьями было полно тех же яблок и груш. А как Собака умела слушать! Пожалуй, она была единственным существом, способным часами внимать деду, в сотый раз рассказывавшему одну и ту же историю. И чем длиннее бывал рассказ, тем внимательнее слушала Собака, и глаза

ее словно просили деда: «Ради бога, не пропусти ни одного слова!»

Однажды я стал свидетелем такого диалога.

— Эх, дружок, кабы не эта проклятая война, разве пришлось бы тебе жрать гнилые груши?! — говорил Собаке дед, печально качая головой.

— Вот именно! — согласно кивала она.

— Небось ты и вкус мяса забыла, бедняжка? — спрашивал дед.

— Увы, забыла! — вздыхала Собака.

— Ничего, все уладится, — успокаивал ее дед, — вот появится скоро отец Гогиты — Арсен, присмотрит за нами. А? Как ты думаешь, ведь присмотрит? — Собака не знала моего отца, но все же утвердительно кивала головой. Дед продолжал: — Кончится же когда-нибудь война, будь она проклята!.. И хворь моя пройдет. А? Пройдет ведь?..

Так сидели они часто на балконе, грелись на солнышке и думали: дед — об окончании войны, о возвращении сына, Собака... Собака, наверно, думала о мясе...

Ну, а во всем остальном наша Собака вела себя, как все собаки на свете. Ночь спала на дворе. Считала обязательным своим долгом лаем откликаться на крик петуха, мяуканье кошки, вой шакала. Ворчала на полную луну, колесом выкатывавшуюся из-за Медвежьей горы. Улаживала свои любовные дела. Подняв лапу, мочилась в огороде на свежезазеленевшие грядки сельдерея. И еще: услышав, как в каком-то дворе начинала вопить и причитать несчастная женщина, получившая похоронную на мужа, сына или брата, поднимала вверх морду и раздражалась жалобным воем.

Шли дни. И жили мы, как полагается жить людям и собакам во время войны...

22 августа 1943 года, ночью, село взбудоражили собачий лай, грызня и вой. Была случная пора, и поэтому особого внимания на шум никто не обратил.

Утром Аслан Тавберидзе нашел у родника растерзанного пса. Для случной поры это также не было явлением необычным. Труп зарыли.



В полдень в селе появился незнакомец, разыскивавший свою собаку. Его направили к Аслану. Пришел туда и я.

— Кириле Мамаладзе из Хеви,— представился он.

— Очень приятно. Чем могу служить? — вежливо спросил Аслан.

— Собака у меня пропала... Сказали, будто вы сегодня зарыли какую-то...

— Точно. Мы и зарыли — я и вот этот парень. А что, разве не следовало этого делать?

— Что вы, наоборот, спасибо вам за внимание. А место показать можете?

— Пожалуйста.

Мамаладзе отрыл труп собаки, пригляделся.

— Моя! — заявил он уверенно.

— Желаете перенести останки? — улыбнулся Аслан.

— Не до шуток мне! — отмахнулся Мамаладзе. — Вчера она покусала моего ребенка, а потом сбежала. На пастеровской станции велели принести голову собаки, чтобы сделать анализ мозга. Если, не дай бог, окажется, что она была бешеной, придется делать ребенку сорок уколов. Представляете себе? Сорок уколов! Дитя и так еле на ногах держится!

Мамаладзе вздохнул и достал из мешка топор.

Я быстро отвернулся и пошел домой.

Выслушав мой рассказ, дед невольно поморщился.

— Нехорошее это дело! — сказал он и взглянул на беззаботно развалившуюся у его ног Собаку.

Вечером зашел к нам сосед Бадриа и попросил у деда ружье.

— Зачем тебе ружье, Бадриа? — спросил дед.

— Застрелить свою собаку.

— В чем она провинилась?

— А ты разве не знаешь? Вчера чья-то собака напала на наших собак. Да ты же слышал, парень, что сказал хозяин того пса! Ребенка, говорит, покусала.

— Но он не говорил, что собака бешеная! — ответил я.

— Дурак! Разве нормальная собака тронет хозяйского ребенка? — спросил Бадриа.

Я промолчал.

— Для такого дела я тебе ружье не дам! — отрубил дед.

— Чем же ее убить?

— Колом.

— Что я, зверь какой-нибудь? — обиделся Бадриа.

— Тогда как хочешь...

Бадриа ушел.

— Ночью запри пса в сарае! — приказал дед и ласково погладил Собаку.

Первый выстрел и душераздирающий визг собаки раздался во дворе Аслана Тавберидзе.

— Какое сегодня число? — спросил меня дед.

— Двадцать третье августа.

— Наступила Варфоломеевская ночь! — проговорил дед.

За первым выстрелом последовали второй, третий, четвертый... Со всех сторон доносились звуки выстрелов, лай и вой собак, крики мужчин, вопли женщин, плач детей, мычание скота. Громыкнуло во дворе Бадриа, затем — у Алистарха и наконец грянуло под боком, у соседа Макариа. Визг собаки оглушил меня.

— Несчастливая собака!.. Пока Макариа перезарядит свою допотопную кремневку, измучается животное! — простонал дед и закрыл уши дрожащими руками.

Целый час продолжалось это неслыханное, безжалостное истребление собак. Целый час гудело и шумело село. И все это время наша Собака, запертая в сарае, со злобным лаем и рычанием бросалась на дверь, скребла ее когтями.

Постепенно все стихло. Грохнул вдали последний выстрел, и наступила мертвая тишина.

— Э-ге-ге-ге-ей! — раздался вдруг чей-то победоносный крик.

— Все. Кончилось... Боже великий, прости нам грехи наши тяжкие... — вздохнул дед...

...Наступило утро.

Пропел петух.

Замычала корова.

Заблеяла коза.

Закудахтали куры.

Из-за Концхоулы поднялось солнце.

Все было, как обычно, и все же то утро было необычным.

Селу чего-то не хватало — незаметного, обыденного, но привычного, близкого, родного чего-то. И когда на проселочной дороге между изгородами показался Аслан Тавберидзе с топором на плече и за ним вприпрыжку не бежал его вислоухий Тузик, я понял: этой неотъемлемой частью, этой плотью от плоти и кровью от крови села была собака — обыкновенная сельская дворняжка.

Утро 24 августа 1943 года в моем селе наступило без собаки...

...Весь день наша Собака не выходила за калитку, не ела, не лаяла. Она лежала у ног деда с закрытыми глазами и вытянутыми лапами. Если б не равномерно вздымавшийся и опускавшийся живот, Собаку можно было принять за мертвую.

— Ну, как она? — спросил я деда.

— Переживает вчерашнюю ночь, — ответил он. — Ничего, скоро все забудет, — он погладил Собаку. Она не шелохнулась.

Под вечер опять появился подвыпивший Бадриа.

— Добрый вечер, Спиридон! — поздоровался он.

— Здравствуй, Бадриа! — ответил дед, но во двор гостя не пригласил.

— Спиридон! — начал Бадриа смущенно. — Народ... того... недоволен... Во дворе Спиридона, говорят, вчера не было стрельбы...

— А что, разве кончилась война? Или вернулся мой Арсен? Или вчера была новогодняя ночь? В честь чего бы мне стрелять? — спросил дед.

— Спиридон, не обижай село ради собаки... Убей пса. У нас ведь собаки были не хуже твоей. Или ты один нашелся такой добрый?

— Нет, Бадриа, не бывать тому, чтобы у моего гроба не была собака!

— Смотри, Спиридон! Не дай бог, но если пес взбесится и покусает моих детей, спалю твой дом и тебя заодно! — пригрозил Бадриа и ушел, пошатываясь.

Было уже темно, но я заметил, как побледнел дед.



— Бадриа! — крикнул он.

Бадриа обернулся.

— Слушай меня, сопляк! Придержи-ка язык и будь осторожен, иначе погрею я свои старые кости на пепелище твоего дома! Понял?

Не знаю, что подумал остолебеневший Бадриа, но будь на его месте я, в ту ночь не сомкнул бы глаз: всем было известно, что слово деда никогда не расходилось с делом.

...Было около полуночи, когда в дальнем конце нашего двора раздались подряд два выстрела. За ними последовал жалобно-злой лай собаки. Вскочив с постели, я схватил ружье и помчался к месту выстрелов. Кто-то быстро продирался сквозь кусты. Потом я услышал шаги убежавшего человека.

Собака лежала у плетня и тихо скулила. Я взял ее на руки и бегом вернулся домой. Дед успел зажечь коптилку и теперь сидел на козьей шкуре у камина. Он осмотрел рану Собаки, промыл ее спиртом, посыпал табаком и крепко перевязал.

— Ничего страшного, — сказал дед, — кость не задета.

Он вопросительно взглянул на Собаку. Собака выразительно взглянула на деда.

— Кто стрелял? — спросил меня дед.

— Не знаю...

— А она знает! Знает, да не может сказать! — Дед покачал головой и смахнул слезы с глаз Собаки.

Утром дед попросил вывести его на балкон. Собака, хромая, поплелась за дедом и улеглась у его ног.

Наш дом стоял на пригорке. И теперь дед осматривал село так внимательно, словно видел его впервые. Он долго молчал, потом обернулся ко мне и тихо сказал:

— Правы они, сынок... Нельзя ради собаки обижать село... Возьми ружье, прихвати Собаку и... Только выйди за село, чтобы я ничего не слышал...

— А что мне нужно сделать за селом? — спросил я и почувствовал, как задрожал у меня подбородок и скривилась нижняя губа.

— То, что сделали все наши соседи,— ответил дед, не глядя на меня.— Ступай, сынок...

Я вынес из комнаты ружье, обвязал веревкой шею Собака и потянул. Собака не сдвинулась с места.

— Идем, Собака! — Я еще раз потянул веревку. Собака умоляюще взглянула на деда.

— Иди, иди с ним, Собака! — сказал дед и закрыл лицо руками...

Мы пересекли село, свернули с шоссе и пошли по тропинке, спускавшейся к реке по сланцевому склону горы.

Собака, прихрамывая, покорно следовала за мной и за все время ни разу не взглянула на меня.

Мы подошли к реке. Я снял веревку с шеи Собака и присел на большой валун. Холодный пот градом катился по моему лицу, сердце гулко стучало. Успокоившись немного, я снял с плеча ружье. Тогда Собака подняла голову и уставилась на меня добрыми печальными глазами. Не выдержав ее взгляда, я отвернулся, потом быстро вынул из ружья обе гильзы и швырнул их в реку.

Тяжелый камень свалился с моих плеч. Я встал, глубоко вздохнул и потянулся. Собака несмело подошла ко мне, лизнула руку, потом вдруг сорвалась с места, бросилась к реке и несколько минут прыгала, кувыркалась, вертелась в воде, поднимая фонтаны брызг. Выйдя на берег, она отряхнулась и, утомленная, легла на песок. Из раны на лапе у нее сочились кровь, и глаза были полны слез. Но я и сейчас готов поклясться, чем хотите,— Собака смеялась!

— А теперь ступай, Собака! Иди спокойно, мирно, не лай и не огрызайся на людей и вообще старайся избегать их. Чего доброго, примут тебя за бешеную и убьют. На селе не показывайся! Слышала, что сказал дед: нельзя ради собаки перечить народу! Нельзя! Но я все же обману деда! А ты иди и не возвращайся, ради бога, в село! Быть может, ты и вправду бешеная! Не бери греха на душу! Ну, ступай, хорошая моя!..

Не знаю, поняла ли меня Собака, но когда я пошел обратно, она осталась сидеть на месте...



— Ну, что? — спросил дед.

Я молча снял с плеча ружье и протянул его деду. Он открыл затвор, посмотрел на свет через каналы стволов.

— Вот что я тебе скажу, сынок: если ты всегда будешь поступать так, трудно тебе придется в жизни...

...Спустя неделю, ночью, шакал задрал в хлеву козу Эквтимэ Сирадзе.

Еще через три дня из чьего-то курятника лиса утащила двух кур.

Потом кто-то начисто опустошил десятипудовый квеври<sup>1</sup> Аслана Тавберидзе.

В один прекрасный день корова Бердзенишвили обглодала в нашем дворе четыре привитых деревца, — дед аж позеленел от обиды.

Вслед за этим из села бесследно исчезли дойная корова Нины Дзнеладзе и племенной бычок Сипито Матиташвили.

Однажды ночью из амбара Кириле Титмерия унесли восемь пудов отборной кукурузы.

Народ взвыл. Начались крики да ругань, подозрения да намеки, стали судить да рядить, дело дошло до материщины и дрючков.

Смешалось, перепуталось все. Встревожилось село.

15 октября хлынул ливень, какого давно не помнили в наших краях. Мельниц, стоявших на Губа-зоули, как не бывало, — унесло их взбушевавшейся рекой.

16 октября дед велел мне сходить на чудом уцелевшую мельницу в Горабережоули.

К полуночи моя кукуруза была смолота. Я взвалил на спину мешок с мукой и собрался было уходить, как вдруг дверь мельницы открылась и на пороге появился Кириле Мамаладзе.

— Здорово, Теофан! — приветствовал он мельника. Меня Кириле не узнал.

---

<sup>1</sup> К в е р и — большой, зарытый в землю глиняный кувшин для хранения вина.

— Как поживает ваш ребенок? — спросил я Мамаладзе.

— Какой ребенок?

— А тот, которого покусала бешеная собака.

— А-а-а, вот ты о чем! Собака-то оказалась здоровой!

— Что вы сказали?!

— Ничего особенного! Собака не была бешеной...

— Не была бешеной!.. А вы... А они... Стыд и срам вам, Кириле Мамаладзе! Стыд и срам! — выпалил я и, словно подкошенный, опустился на мешок.

— Теофан, чей этот невежа? — спросил удивленный Мамаладзе мельника.

— Чей ты, парень? — спросил мельник меня.

— Ничей! — отрубил я и, не попрощавшись, вышел из мельницы.

Весь день 17 октября я раздумывал — рассказать деду о встрече на мельнице или нет. Наконец решил, что говорить об этом деду не стоит.

18 октября дед не захотел вставать с постели.

20 октября он попросил меня остаться дома.

25 октября у деда опухли правые рука и нога.

27 октября он подозвал меня и вручил ключи от ларя.

28 октября дед усадил меня напротив себя на низеньком стульчике и сказал:

— У всего на свете есть начало и конец, сынок... Не сегодня, так завтра наступит и мой конец... Это очень страшно — идти, не зная, куда. И потому не совру — боюсь я смерти... Но ты не бойся, сынок!.. Если там, на том свете, нет ничего, то и бояться тогда нечего! А если смерть — это лишь преображение человека, тогда тем более нет основания для страха. Я вернусь в этот мир, вернусь в другом обличье — деревом, травой, птицей, собакой... И всегда я буду с тобой!.. Я никогда не оставлю тебя одного! Знай, сынок, что бы тебе ни доставило тепло и радость, — будь то даже простой камень, — это буду я, твой старый дед! Поэтому ты никогда не считай себя одиноким и не бойся одиночества... Об одном тебя прошу — не покидай наш дом, не дай погаснуть нашему очагу!.. Вернется твой отец — он должен най-

ти здесь огонь, кусок мчади и стакан вина. Об остальном он позаботится сам... Вот уже неделю мне снятся покойники, а твой отец ни разу не приснился. Значит, жив он! Сохрани ему, сынок, родной дом и доброе имя!.. Будет конец и войне! Войну начинают люди, и люди же положат ей конец. Быть того не может, чтобы война одолела человека... А теперь иди, принеси дров побольше...

В ту ночь я не спал. Дед молчал, не отрываясь глядел на пылавший в камине огонь и чему-то улыбался.

29 октября ему стало плохо. Я приподнял его в постели и обложил подушками.

— Идет, идет она, благословенная, но очень уж медленно идет... — проговорил он.

30 октября дед снова подозвал меня:

— Приготовься, сынок... Завтра она дойдет до сердца... Ты не волнуйся... Все, что нужно, сделают соседи... Жаль только, нет у нас в доме женщины, некому оплакать меня.

1 ноября, в полночь, дед слез с постели и стал посередине комнаты.

— Гогита, я увидел его! — произнес он со страшной скорбью в голосе.

— Кого, дедушка? — спросил я, вскакивая с постели.

Дед навалился на стол, потом стал медленно сползать вниз и вдруг опрокинулся навзничь.

— Дедушка! — крикнул я. — Дедушка!

Дедушки больше не существовало.

Все произошло так, как хотелось моему доброму, мудрому деду...

Я оделся, открыл все двери и окна и вышел на балкон.

Наступило утро 2 ноября.

На холодном и блестящем, как зеркало, небе одна за другой гасли звезды.

Я спустился во двор, босиком прошелся по росистой траве. Холодная дрожь пробежала по телу... Шумели неубранные стебли кукурузы... Проходя ми-



мо грушевого дерева, я машинально нагнулся, подобрал и откусил грушу и только тогда почувствовал, что во рту у меня пересохло.

Спокойно, не спеша я распахнул ворота, пересек дорогу, подошел к соседскому плетню и позвал:

— Маргалита!

Никто не отозвался, было еще очень рано. Я позвал громче.

Скрипнула дверь, и на балкон вышла заспанная женщина.

— Кто там?

— Это я, Гогита!

— Чего тебе?

— Спустись во двор, дело у меня.

— Ты что, пьян, парень?

— Умер дедушка, Маргалита... И некому его оплакать... Я прошу тебя...

— Да что ты говоришь!

— Да, умер дед. Прошу тебя, Маргалита, не откажи!..

Не сказав ни слова, Маргалита — непричесанная, босая — сбежала вниз по лестнице. Когда мы подошли к нашему дому, я пропустил ее вперед. Женщина ступила на лестницу, но вдруг остановилась и в замешательстве обернулась ко мне.

— Не бойся! — сказал я тихо и присел прямо на влажную траву.

Маргалита поднялась на балкон, повернулась лицом к деревне и распустила волосы...

Дедушку хоронили в воскресенье, 4 ноября 1943 года.

Народ стал подходить после полудня. Шли группами — по признаку родства или местожительства. Перед каждой группой следовали плакальщицы и двое детей со стружковым венком в руках.

Мои ближайшие соседки, взявшие на себя все хлопоты по устройству похорон, оплакивали скорее меня, чем деда:

— Несчастный ма-а-льчик, как же ты проживе-е-шь один-одине-е-шенек, сирота бе-е-еденький!..

Я стоял у дверей с черной повязкой на руке и степенно, без слез и стонов, отвечал на рукопожатия соболезнующих.

— Ты поплачь, поплачь. Гогита, легче станет! — шепнула мне на ухо Маргалита. Я согласно кивнул головой.

Балкон, двор и даже дорога были полны людей. Стояли, судачили, делились новостями, спорили, кое-где даже смеялись...

Вдруг в толпе что-то произошло. Сперва она зашумела, потом наступила мертвая тишина. Люди расступились, и в образовавшемся коридоре показалась лохматая, грязная, с приставшими к шерсти шариками чертополоха Собака. Не глядя на людей, не обращая ни на кого внимания, Собака проследовала через весь двор, поднялась на балкон и заглянула в дедушкину комнату. Не найдя там никого, она вошла в зал, приблизилась к гробу, встала на задние лапы, передними уперлась в тахту, вытянула шею и... замерла. Долго смотрела Собака на спокойное, доброе и красивое лицо деда, потом повернулась, подошла ко мне и молча улеглась у моих ног.

— Слава тебе, господи! — вырвалось у кого-то.

И тут я не выдержал, закрыл лицо руками и громко зарыдал.

Около пяти часов дня произошло другое чудо.

В комнату вошел Бадриа. Увидев лежащую у моих ног Собаку, он вздрогнул, но быстро овладел собой и с приличествующим обстоятельствам выражением лица направился ко мне. Собака вскочила, оцетинилась, оскалила зубы и сердито зарычала.

Бадриа отступил, Собака сделала шаг вперед.

— Но, но, пошла! — проговорил побледневший Бадриа. Собака глядела на него налитыми злобой глазами.

— Дай же поплакать над человеком! — попытался улыбнуться Бадриа.

Собака зарычала громче и приблизилась к нему.

— Скажи ей что-нибудь! — обернулся ко мне растерявшийся Бадриа.

«А она знает! Знает, да не может сказать!» — вспомнил я слова деда и сказал:

— Бадриа, уйди из моего дома!

«Если ты всегда будешь поступать так, трудно тебе придется в жизни», — вспомнил я слова деда и все же повторил:

— Уйди, Бадриа, из моего дома!

Бадриа ушел.

Утром меня разбудил какой-то шум. В одном белье я выскочил на балкон.

— Гогита, уйми проклятую собаку, чуть не загрызла нас! — кричали пришедшие за стульями соседи.

...Я окинул взглядом свое село.

Над домами вились легкие белые струйки дыма.

Пели петухи.

Мычали коровы.

Блеяли козы.

Кудахтали куры.

Из-за Концхоулы поднималось солнце.

Тело мое наполнилось теплом, и в ушах зазвонили веселые колокола.

В моем дворе лаяла собака.





## НЕБЛАГОДАРНЫЙ

Столетие Гудули Бережиани прошло как-то незаметно. И не мудрено: на сельском кладбище покоилось столько его однофамильцев, достигших полутравекового возраста, что соседи могли и не вспомнить про Гудули. Да что там соседи — свой день рождения прозевал и сам Гудули.

...В то утро Гудули встал вместе с петухом Лонгинозом. Первая его реплика была адресована соседскому псу:

— Ну, как, сколько яиц ты собираешься утащить у меня сегодня?.. Пшел, не путайся в ногах, обжора!

Затем последовал выговор сошедшему с жерди петуху:

— Чем будить меня чуть свет, присмотрел бы лучше за своим гаремом! Наставит тебе рога петух Ардалиона Брокишвили — будешь тогда кукарекать!

Покончив с петухом, Гудули спустился с балкона и вошел в кухню. Стоя на коленях у очага, он разгреб засыпанные золой уголья, набросал сверху сухого хвороста и стал раздувать пламя. Потом поставил на огонь медный кувшин с водой. Подождав, пока вода согрется, налил ее в горшок для молока, засучил правый рукав и направился к хлеву. Привязанная к яслям корова взглянула на хозяина огромными задумчивыми глазами и замычала.

— Здравствуй, здравствуй! — приветствовал Гудули корову и шлепнул ее по крупу. Корова перестала жевать жвачку, медленно поднялась и стала покорно ждать, когда Гудули приступит к дойке. Тот подтолкнул к корове трехногий стульчик, присел на него и взялся за увядшее коровье вымя. В горшок поли-

лись тоненькие струйки молока. Удой оказался небольшим.

— Совсем ты расклеилась, несчастная! — упрекнул корову Гудули.

— Что делать, батюшка, состарилась я! — попыталась она оправдаться.

Гудули распахнул ворота и пустил корову в убранный кукурузный поле.

— Иди, жри!.. Не корова ты, а коза паршивая, чтоб волки тобой подавились!.. Иди!

...Корова нехотя щипала жухлую траву...

— Здравствуй, Гудули!

Гудули сидел на лестнице оды<sup>1</sup>, держал на коленях горшок с молоком, глядел на медленно всплывавший между гор золотой диск солнца и ни о чем не думал.

— Здравствуй, Гудули!

Гудули оглянулся на голос. Под грушей, скребя затылок, стоял Уча Мелимонадзе.

— Не Гудули, а дед Гудули! Сколько раз я тебе говорил, сопляк?

— Здравствуй, дед Гудули!

— Здравствуй!

— Мама просила тебя угостить меня вареньем!

Гудули улыбнулся:

— Может, молоком?

— Нет, вареньем!

— Ну, так знай: не выпьешь молока — не есть тебе варенья!

— Покажи...

Гудули протянул горшок.

— А мама говорит: будешь пить Гудулино сырое молоко — заболешь бруцеллезом. Вот!

— Много твоя мама понимает! Ты поговорку про женский ум слышал? То-то!.. Гм, сырое молоко! Если хочешь знать, я всю жизнь только и пил, что сырое молоко! Понятно тебе?

— Ну, ладно, так и быть...

Уча вздохнул и...

---

<sup>1</sup> Ода — деревенский деревянный дом.

Глядя, как молоко с бульканьем наполняет животик мальчика, Гудули еле сдерживал смех. Наконец Уча оторвался от горшка, фыркнул, рукавом вытер губы, вернул горшок Гудули и взмолился:

— Подсоби хоть немного...

Гудули молча взял у мальчика горшок.

— Слышь, Уча, а в школу ты сегодня не собираешься?

— А сегодня воскресенье! — блаженно улыбнулся тот.

— Суббота сегодня! — нахмурился Гудули.

— Да нет же, воскресенье, — повторил Уча.

— Неуж... Ах ты, боже мой! Как же это я, старый дурак, сплеховал! — Гудули в сердцах стукнул себя рукой по колену.

— Да что тут такого, дед Гудули? Суббота, воскресенье — не все ли равно? В школу ты не ходишь и на работу тоже... — успокоил старика Уча.

— погоди! А какое сегодня число?

— Число — 28-е, день — воскресенье, месяц — ноябрь, год — 1970! — отрапортовал Уча.

— Ах, горе мне! — воскликнул Гудули и встал.

Не обращая внимания на оторопевшего мальчика, Гудули вошел в комнату и уставился на висевший у изголовья его кровати календарь. Долго, не сводя глаз, смотрел он на календарь, потом оторвал листок и вернулся на прежнее место.

— Что случилось, дед Гудули? — Уча сбоку подсел к Гудули, оперся рукой о его колени и снизу вверх метнул на старика удивленный взгляд. Не отвечая мальчику, Гудули извлек из кармана очки, надел их и, не пропуская ни слова, стал по слогам читать с листка календаря:

**28 ноября  
Воскресенье**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Восход солнца | — 8,06      |
| Заход солнца  | — 17,32     |
| Долгота дня   | — 9,26      |
| Новолуние     | — 24 ноября |
| Восход луны   | — 10,55     |
| Заход луны    | — 20,31     |



Затем он так же внимательно ознакомился с содержанием обратной страницы:

*Знаете ли вы?..*

За один день человек делает около 20 тысяч шагов, за год — около 7 миллионов, а за 70 лет — около 5 000 миллионов шагов, что примерно составляет расстояние от Земли до Луны.

Гудули взглянул вверх и увидел солнце. Затем он посмотрел на запад и увидел ущербную луну. Солнце и луна были на небе вместе, одновременно, но Гудули в ту минуту луна почему-то показалась более далекой.

Он продолжал читать:

Расстояние от Земли до Луны — 384 тысячи километров — в 9 раз превышает длину экватора. Следовательно, за 70 лет человек мог бы 9 раз обойти по экватору земной шар.

У Гудули закружилась голова...

— За 70 лет — 9 раз... А за сто лет? Десять, одиннадцать, двенадцать раз...

Он взглянул на свои исхудалые, костистые, дрожащие колени и вдруг почувствовал такую страшную, смертельную усталость, словно только что завершил свой двенадцатый круг по экватору.

— А, вы слышали? Если бы мы за эти сто лет шли от нашего села через Озургети<sup>1</sup> на Батуми, Москву, потом — в Германию, оттуда — в Америку, потом, с обратной стороны, в Японию, оттуда в Озургети и домой, — мы бы двенадцать раз обошли матушку Землю... А? Понимаете?

Он ласково погладил свои колени и продолжал:

— Этого не случилось... Землю мы не обошли... Но, видит бог, мы не знали ни минуты отдыха... — Гудули улыбнулся. — Что же это получается? Топтались на месте?.. Много же мы исходили! Ау, какую

---

<sup>1</sup> Озургети — старое название гор. Махарадзе.

сеть сплели!.. Не жалуюсь! Я благодарю вас и за то, что вы все эти сто лет без устали носили меня по дворам, по соседям, по селу... Спасибо, большое вам спасибо! — Гудули еще раз погладил колени.

В восемь часов утра 28 ноября 1970 года Гудули Бережиани исполнилось сто лет. Вспомнил об этом старик, и сердце его судорожно затрепыхалось, словно пойманная птичка. Гудули испугался. Такое было с ним в дни молодости — перед соревнованием в стрельбе или во время скачек, когда он садился на коня. Бывало так и перед началом состязаний по борьбе, где неизменными его соперниками были братья-близнецы Керкадзе, а неизменным зрителем — их сестра Талико. Тогда точно так прыгало и трепетало его молодое, сильное сердце. А теперь Гудули испугался. Он схватился рукой за грудь и замер... Вся молодость пробежала перед глазами Гудули за эти несколько минут... А потом все стало на свои места. Сердце улеглось, успокоилось и продолжало свою обыкновенную, размеренную и невидимую работу. Гудули вздохнул полной грудью и почувствовал, как его легкие наполнились прохладным чистым воздухом. Он с облегчением вытер рукавом выступивший на лбу пот, еще раз вздохнул и улыбнулся.

— Благодарю тебя, большое тебе спасибо! — сказал он и ласково погладил свое сердце.

Гудули спустился во двор, по тропинке проковылял к груше и уселся в ее тени. Уча неотступно следовал за ним.

— Разве груше не больно? — спросил Уча, вытаскивая из дерева воткнутой в него острием топор.

«Началось,— подумал Гудули,— теперь только успевай отвечать на его вопросы!..»

— Ну, дорогой, если уж и деревья начнут испытывать боль от топора, тогда пиши пропало: не добиться человеку искупления своих грехов!

Гудули ждал нового вопроса, но Уча молчал. Он осторожно провел пальцем по отточенному лезвию топора и проговорил про себя:

— Конечно, больно. Еще как больно!

Гудули подозвал мальчика, усадил рядом с собой, положил руку на его огненно-рыжую голову и тихо сказал:

— Уча, сегодня твоему деду Гудули исполнилось сто лет.

Уча недоверчиво взглянул на старика и рассмеялся.

— Что ты ржешь, сопляк?

— Да разве и в прошлом, и в позапрошлом году тебе не было сто лет?

— Сукин сын! Как это в позапрошлом году могло быть мне сто лет?!

— А сколько?

— Сколько! В прошлом году было девяносто девять, в позапрошлом — девяносто восемь! А сегодня стало сто!

— Да ну! Ты всегда был таким!

— Болван! Всегда таким пусть будет твой отец!

— Мама говорит, что тебе возраст не прибавляется и не убавляется... «Этот старый хрыч, — говорит, — остановил время».

Гудули посмотрел в улыбающиеся глаза мальчика и увидел в них свое улетевшее безвозвратно детство... Он отвел взор и глухо спросил:

— А не говорит она — смерть, мол, не берет старого черта?

— Говорит.

— Значит, я остановил время, да? Так она сказала?

— Так.

— Эх, дорогой мой, остановить время не в силах даже сто пар буйволов!

— А кто же может остановить его?

— Никто. Настанет, наверно, день, и время само остановится...

Уча лег на спину.

— Гляди, солнце и луна вместе на небе! — воскликнул он.

— Видел, видел, сынок!

— А как же это — солнце и луна, и вдруг вместе?

«С ума меня сведет этот бездельник!» — подумал Гудули.



- Ну, скажи, как это, а? — не отставал Уча.
- А вот так: небо — это божье око, и оно вмещает все — и день и ночь! — объяснил Гудули.
- Как божье око?
- О-о-о, отстань, ради бога! — рассердился Гудули.
- Скажи — как?!
- Гудули прошиб горячий пот.
- Слушай: есть у тебя глаза?
- А как же!
- А ну закрой их! Быстро!.. Что ты видишь?
- Ничего. Темно!
- Открой!.. А теперь?
- Теперь светло!
- Ну, вот. Так и божье око: оно видит одновременно и ночь и день.
- Так то бог, а то я! — присел Уча. — Разве мы одно и то же?
- Конечно, сынок, одно и то же! Весь этот мир принадлежит тебе! — Гудули крепко обнял и привлек к себе мальчика. Тот хотел спросить еще что-то, но Гудули, опередив Учу, закрыл ему рот рукой:
- Ни слова больше, иначе убью тебя и себя тоже!
- Уча вырвался из объятий старика и, скроив жалкую рожу, попросил:
- Один, только один вопрос! Последний!
- Ну, давай!
- Утром мама сказала, что мой папа мерзавец, сволочь, негодяй и сукин сын и что для нас он все равно что умер... Это правда?
- У Гудули пересохло во рту.
- Правда, сынок... — проговорил он и вдруг спохватился: — Но ты не должен повторять этих слов! Как-никак он твой отец!
- А почему правда?
- Да потому, что человек, бросивший такого сына, как ты, он и есть сволочь!
- Уча молча встал и направился к воротам.
- «Не должен был я говорить этого! — пожалел Гудули. — Мальчику отец кажется ангелом... Откуда ему знать, какой он подлец!»

— Уча! — крикнул Гудули.

Уча шел не оглядываясь.

— Уча, вернись, сынок!

Уча остановился.

— Слушай меня, мальчик! Твой отец не сволочь, а Таризэл, Автандил и Фридон<sup>1</sup>, вместе взяты! Ты что, шуток не понимаешь?

Уча подозрительно, исподлобья взглянул на Гудули.

— Иди, иди ко мне, сыночек! — ласково помахал рукой старик.

И вдруг Гудули остолбенел... Сперва он решил, что это ему показалось... Но когда он совершенно отчетливо, с потрясающей ясностью ощутил, как между его ног растекается предательское тепло, — Гудули понял: наступило начало конца.

— Боже, не делай этого! — взмолился Гудули. Но бог был неумолим. Теплая влажность проникала все ниже и ниже...

— Уча, помоги мне! — невольно вырвался у Гудули слабый хрип. И пока мальчик бежал к нему, он опустился на колени и горько зарыдал.

Прошел час. Гудули пришел в себя.

— Ты теперь ступай домой, сынок...

— Я позову маму!

— Нет, не надо, сынок. Иди домой!

— Я скажу маме!

— Да нет, не нужно!

— А почему ты плакал?

— Просто так, обманул тебя, хотел испытать — любишь ли ты деда Гудули...

— Ты что, весь день сегодня обманываешь меня?

— Что поделаешь, выжил из ума старый хрыч... Ступай, ступай, мой мальчик, оставь меня... Теперь я должен отдохнуть...

Уча медленно пошел. У ворот он оглянулся.

---

<sup>1</sup> Таризэл, Автандил, Фридон — герои поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

— Ступай, сынок, ступай! — Голос Гудули звучал спокойно.

Уча ушел.

Прислонившись к дереву, не двигаясь, Гудули стоял и отсутствующим взглядом смотрел в пространство. В голове не было мыслей — одна лишь безграничная пустота... Вокруг царила могильная тишина. Тишина обнимала село, небо, землю... Гудули видел, как перед ним падают и лопаются перезрелые груши, и не слышал звука падения. Он видел, как по желобку бежит родниковая вода, и не слышал ее журчания. Видел, как ветерок гонит по земле сухие листья кукурузы, и не слышал их шелеста. Видел, как подошедшая к воротам корова, вытянув шею, мычит, просится во двор, как петух Лонгиноз, взобравшись на плетень, хлопает сильными крыльями и, выпучив глаза, раскрывает клюв, но не слышал ни мычания коровы, ни петушиного пения... Все вокруг молчало. Было лишь ожидание, нескончаемое, раздражающее душу, страшное в своей неизвестности ожидание. И прислоненный к груше, окаменевший Гудули сам походил на старое, изъеденное червями дерево, которое ждет не дождется человека с топором... Горе тебе, Гудули Бережани, горе!

...Долго стоял так опустошенный Гудули. Потом постепенно к нему стало возвращаться сознание. Луч надежды проник в его остановившееся было сердце, и сердце вновь застучало, побежала кровь по жилам. Гудули сперва услышал биение собственного сердца, потом шелест сухих кукурузных листьев, потом мычание коровы, потом журчание воды и, наконец, пение петуха Лонгиноза. Гудули ожил.

— Слава богу... — прошептал он и медленно двинулся к оде. — Так. Спокойно, Гудули! Ничего еще не случилось... Ничего страшного... Это, наверно, произошло случайно... А может, ничего и не произошло? Может, ему все показалось?

Гудули взглянул на солнце — оно заметно переместилось к западу. Потом осторожно ступил на лестницу. Первая ступенька... Вторая... Третья... Пятая... И тут опять рухнул мир. Опять замерло все вокруг. Опять Гудули ощутил противную, страшную, теплую



влажность. «Этот старый хрыч остановил время!» — промелькнуло в голове, и он, прежде чем вспомнить, чьи это слова, словно скошенный стебель, упал на лестницу.

— Здравствуйте, уважаемый Гудули!

Гудули очнулся.

— А? В чем дело, Ксения? — спросил он, недовольно морщась. Как никогда, старику хотелось побыть одному.

— Да вот, прибежал Уча, говорит — деду Гудули плохо...

— Ничего, дорогая! Сердце маленько... того... Прошло уже...

— Может, что нужно, уважаемый Гудули? Или позвать врача?

— Нет, нет, Ксения! Не надо!

«Начнется теперь — врач, больница, лекарства... О, боже!..»

— Может, выпьете валерьянки?

— Нет, нет!

«Вот он — конец... Кому нужна такая жизнь? Валерьянка!»

— Валидол?

— Не надо валидола!

— Чем же мне помочь вам, уважаемый Гудули? — забеспокоилась женщина.

— Да ничего мне не нужно, дорогая! Иди себе домой...

«Это первая ласточка... За ней появятся другие... Сочувствие соседей... хлопоты... Господи!..»

— Кажется, паршивый мальчишка сболтнул что-то про смерть... Будто бы я говорила... Убью мерзавца!

— Что ты, что ты, Ксения!

«Боже мой, как много она болтает! Раньше я этого не замечал за ней!..»

— И у кого только повернулся язык сказать такое? Чтоб он отсох, этот язык!

«Зачем она себя проклинаят? Уча не станет мне лгать!»

- Перестань-ка ты, ради бога! Ступай домой!
- Оказывается, сегодня ваш день рождения, уважаемый Гудули? Дай бог вам еще сто лет здоровья и бодрости!
- Спасибо, спасибо, Ксения!
- Неужели ваши не приедут из города? Как-никак сто лет — событие не простое...
- Приедут, обязательно приедут!

«Месяц, другой, третий... А потом всем я надоем... Кому охота возиться с больным...»

— Вот уж если кто может похвалиться детьми, так это вы, уважаемый Гудули! Один в Батуми, другой в Поты, третий в Кутаиси, четвертый в Тбилиси. И все ученые, все красивые... Сколько у вас внуков, уважаемый Гудули?

— Всего потомства — двадцать три человека, да что толку-то? Со мной никого.

— Не говорите, уважаемый Гудули! Счастливый вы человек!

— Да, конечно...

«Боже мой, неужели не будет конца ее болтовне?»

— Так я пойду и пришлю мальчика.

— Не беспокойся, Ксения. Вот прилягу немного, и все будет хорошо.

— Если что — не стесняйтесь, ради бога! Зовите, как собственную дочь!

— Спасибо, дорогая!

— Будьте здоровы, уважаемый Гудули!

— Будь здорова, Ксения!

Женщина ушла. Гудули проводил ее печальным взглядом. Вот идет она — молодая, ядреная... А Гудули сидит на лестнице и — боже, боже великий, за что такой позор?! — сушится под косыми лучами ноябрьского солнца...

...Как странно устроен человек!.. О своей старости и недугах он особенно сожалеет при виде молодого, здорового человека. И, наоборот, сознание того, что кто-то другой еще более стар и немощен, чем он сам, ему доставляет успокоение, вселяет в него надежду. Сегодня, держа Учу в своих объятиях, Гудули раз

сто, наверно, подумал: «Господи, подари мне его молодость и возьми взамен все, что тебе захочется!» И теперь, глядя на удалявшуюся Ксению, он сказал про себя: «Великий боже, дай мне возраст этой женщины и возьми от меня все, что твоей душе угодно!»

И тут же почувствовал, как краска стыда залила его лицо. Гудули Бережиани стало стыдно за то, что он не оценил по достоинству дарованных ему богом ста лет...

До захода солнца неумолимая действительность еще трижды напомнила о себе... И тогда Гудули Бережиани, человек, проживший на земле сто лет, стал лицом к солнцу, опустился на колени, склонил голову в низком поклоне и сказал:

— Прощай, солнце, и прими от меня великую благодарность!

— За что ты благодаришь меня, человек? — удивилось светило.

— За доброту твою, солнце, за то, что все эти сто лет после каждой ночи ты дарило мне радость наступившего утра!

— На здоровье, человек! — сказала солнце и скрылось...

— Спасибо тебе, солнце!..

Гудули впустил во двор мычавшую у ворот корову. Корова по привычке зашла в хлев, приготовилась к дойке. Гудули погладил корову, почесал по голове, но доить ее не стал.

— Сегодня отдохни, корова, лежи себе спокойно... И прими от меня великую благодарность!

— За что ты благодаришь меня? — удивилась корова.

— Хотя бы за то, что каждое утро ты давала мне по стакану молока.

— На здоровье! — сказала корова и легла.

— Спасибо тебе, корова!..

Гудули прошел на задний двор, взглянул на устроившихся на ночь кур и, прежде чем прикрыть дверь



курятника, ласково потрепал петуха Лонгиноза по красному гребешку.

— Завтра буди меня, когда тебе заблагорассудится. А теперь прощай и прими от меня великую благодарность.

— За что ты благодаришь меня? — удивился петух.

— Хотя бы за то, что ты каждое утро добросовестно будил меня!

— На здоровье! — сказал Лонгиноз и заснул.

— Спасибо тебе, Лонгиноз!..

Коптилку он поставил рядом с квеври, аккуратно срезал глину вокруг его головки, стал на колено и осторожно поднял крышку. Тридцатипудовый квеври вздохнул, обдав Гудули крепким ароматом шипучего цоликаури<sup>1</sup>. Гудули глубоко втянул в себя одурманивающий запах, заглянул в черное отверстие, потом медленно, боком опустил туда черпалку из тыквы. «Буль, буль, буль», — забулькало хлынувшее в черпалку вино. Гудули чуть притронулся губами к черпалке и сказал:

— Слава тебе, святой сок винограда, слава тебе, бессмертная виноградная лоза! И прими от меня, дорогой мой квеври, великую благодарность!

— За что? — раздался, словно эхо, удивленный голос.

— За то, что все эти сто лет ты был моим верным другом в дни радости и в дни горя!

— На здоровье! — вздохнул квеври.

— Спасибо тебе!..

Гудули сидит за низеньким столом. В руке у него полная чаша с вином. Тусклый свет подвешенной на балконной стойке коптилки мерцает, словно нимб, над головой старика. Стекающие по щекам слезы каплями срываются с подбородка, орошая лежащие на столе кукурузную лепешку и молодой сыр, — Гудули Бережиани плачет...

---

<sup>1</sup> Цоликаури — сорт вина.

Час тому назад Гудули обошел весь двор. Потрогал плуг — износился плуг. Взглянул на топор — истерся топор. Взял в руки серп — почти весь вышел серп. Взмахнул заступом — истлел до половины заступ. Нож, что лежит на столе перед Гудули, и тот на ладан дышит... Металл, металл не устоял перед неумолимым временем, долго ли сломиться человеку?!

Вот этим благословенным вином клянется Гудули — не жаль ему жизни. Гудули знает — он не болен. Просто истлел человек, истерся — вот и все! Износился, как те же плуг, топор, серп и нож.

Со всеми успел попрощаться Гудули — с небом и землей, домом и двором, собакой и свиньей. Но дольше всех прощался он со своей ровесницей — грушей.

— Прощай, груша! — обнял Гудули дерево. — Самой совершенной среди нас оказалась ты! Твои корни прочно сидят в земле, плечи твои подпирают небо... Ты дарила тень и прохладу трем поколениям моего потомства и скольким еще сослужишь добрую службу, кто знает! Вот уже век плодоносят твои добрые ветви, а ты все стоишь, груша, здоровая и сильная. Ты отрада и украшение моего двора, обитель пернатых и певчих моего села. Прими от меня великую благодарность, дерево!

— На здоровье, человек! — просто ответило дерево. Оно хорошо знало цену себе...

«Слава тебе, природа, — подумал Гудули, — слава твоей мудрости! Какое это счастье — сознавать, что после тебя останутся жить дерево, земля, небо и солнце!..»

Последнюю благодарность Гудули воздал своему сердцу, своей деснице, глазам, ушам и разуму своему.

— За что? — спросило в недоумении сердце.

— Как это за что? — удивился Гудули. — За сто лет ты ни разу не изменило мне, все эти сто лет мне верой и правдой служили мои глаза, уши, руки и разум. Разве этого мало?!

— На здоровье, Гудули, на здоровье!.. А теперь мне пора на покой... Я очень устало, Гудули!

— Спасибо тебе, сердце!..

Что ж, теперь можно попрощаться с мальчиком и его матерью. Но вот беда, запомнил старик, как звать-то их? Господи, дай вспомнить! Ладно, бог с ней, с матерью, мальчика-то зовут как? Боже великий, не лишай Гудули памяти, напomini ему имя мальчика!..

Но бог был неумолим. Не вспомнил Гудули имен ни матери, ни сына...

Подошел тогда Гудули к перилам балкона, распахнул рубашку на груди и крикнул:

— Э-э-е-й, соседка!

— Слушаю вас, уважаемый Гудули!

— Кто это?

— Ксения я, кто же еще! Не узнали меня?

«Ксения... Ксения... Вот как звать ее... Ксения...»

— Мальчик дома?

— Уча-то?

«Уча! Слава богу, узнал, как звать этого прохвоста...»

— Ксения, сейчас в моем доме случится... В общем, сделай так, чтобы мальчик не расстроился...

— Вы о чем, уважаемый Гудули?!

— Прошу тебя, не пускай ко мне мальчика, пока не придут соседи...

— Да что вы такое говорите, уважаемый Гудули? Шутите, что ли?

— Прощай, Ксения! Видит бог, я любил всех вас, и благодарю вас! Спасибо!

— Гудули, уважаемый, что с вами?!

Гудули вошел в комнату и закрыл за собой дверь.

— Гудули!!

Во дворе Бережиани грянул выстрел. Звук был сильный. В домах вокруг зазвенели оконные стекла...

Хоронить Гудули Бережиани собралась уйма народа. Было немало родных и близких, хотя никто из них особенно не убивался. Более того, старший сын— Димитрий, вместо того чтобы побыть у гроба, стоял во дворе, под грушей, недовольный, словно Наполеон после Ватерлоо, и здесь принимал соболезнования.

Подошел к Димитрию и я:

— Искренне сочувствую в вашем глубоком горе!



— Ах, не говорите, Нодар Владимирович! — воскликнул Димитрий недовольно. — Опозорил он своих детей! Не знаю даже, как людям смотреть в глаза.

— Мда-а, все это случилось действительно так неожиданно...

— Да что там — неожиданно! Это чудовищно! Что мне сказать друзьям, товарищам?! Как объяснить такой поступок? Жить с нами в Тбилиси не соизволил — с могилой жены, видите ли, не мог расстаться!.. И потом — корова, куры там всякие... Подумаешь, тощая корова и облезлый петух!.. И дом — развалина!.. Без Учи, мол, не могу! Представляете себе? И это сказал мне родной отец!

— Кто это Уча?

— А я знаю? Соседский сын, мальчишка какой-то! Родной отец его бросил, а тут — пожалуйста! Нашелся покровитель! Да таких мальчишек, если хотите, у нас целая дюжина!..

— Мда-а, тяжелая картина... — проговорил я и собрался уходить. Но Димитрий продолжал:

— Хоть бы нуждался в чем!.. Летом жена моя из Парижа привезла ему теплые кальсоны!.. Да и вообще!.. А похороны? Припомнят ли в нашем селе такие похороны?! Да что говорить? Всю жизнь он был неблагодарным и так же неблагодарно окончил ее!..

— Не знаю, как утешить вас...

— Ради бога, какое там утешение! Благодарю вас!

— Будьте здоровы!..

— Куда вы?! Пройдите, пожалуйста, вот сюда, под навес, к столу! Окажите последнюю услугу! Эй, Митуша, поухаживай за гостем!

Поскольку похороны были радиофицированы и звук репродуктора был несколько выше, чем это приличествовало бы реквиему Моцарта, Димитрий был вынужден говорить еще громче.

Мне кое-как удалось улизнуть от пьяного Митуши и незаметно покинуть двор. У самых ворот я увидел сидевшего на земле мальчика лет семи. Уткнувшись огненно-рыжей головой в колени, он плакал.

— Как тебя звать, малыш? — спросил я и погладил мальчонку по голове.

— Уча Мелимонадзе, — чуть приподнял он голову и вновь продолжал плакать.

— Расти большим, малыш! — сказал я, глотая подступившие к горлу слезы, и вышел со двора.

Оглянувшись, я увидел разглагольствовавшего Дмитрия. Но поскольку похороны были радиофицированы и звук репродуктора был несколько громче того, чем это приличествовало реквиему Моцарта, я не расслышал его слов...



## НЕ БУДИ!

Прошлый сентябрь я провел в деревне.

Однажды воскресным утром ко мне зашел друг детства Митуша Маршания и уговорил сходить на речку — порыбачить. Вспомним, говорит, молодость!.. Через час-другой корзина была полна рыбой — усачи попались один крупнее другого!

Возвращаясь домой, мы свернули к колхозной конторе. На крохотной круглой площадке было многолюдно и оживленно. Я поздоровался с соседями, перебросился с ними парой-другой слов и попросил табака. Табака, конечно, ни у кого не оказалось, — кто сейчас в деревне станет возиться с табаком?

— Я принесу табак, дядя, возьму у дедушки! — крикнул полуголый мальчуган и исчез, словно ящерица в расселине скалы.

В ожидании мальчика я подошел к стенду с фотографиями не вернувшихся с Великой Отечественной войны сельчан и невольно стал считать их.

Сто пятьдесят два молодых лица — наивных и удивленных, хмурых и улыбающихся, задумчивых и веселых, гордых и беспечных — глядели на меня со стенда. Одеты ребята были по-разному — одни в штатском, другие в военных гимнастерках. Некоторые фотоснимки были вырезаны из семейных альбомов и затем увеличены.

Я вглядывался в лица этих людей — ушедших и не вернувшихся, — и в памяти всплывали картины — живые, яркие, словно это было вчера...

...Даниел Басилия... Война застигла его за самым что ни на есть мирным занятием: взобравшись на



японскую хурму, он собирал «изабеллу»<sup>1</sup>. Опорожнив полную корзину, почтальон Бакур пожелал Даниелу благополучного приземления и ушел. В поднятой наверх пустой корзине Даниел нашел повестку. На землю-то он спустился благополучно и на войну ушел с песней, да с войны так и не вернулся...

...Важико Центерадзе... На третье утро после свадьбы его с трудом выволокли из дома, от молодой жены, секретарь партячейки колхоза Людвиг Квитаишвили. Ох, и парень был Важико — горячий, веселый, неугомонный!

— Не убирай постель, Тухия! — крикнул он зареванной жене. — Набью морду Гитлеру и через два дня вернусь к тебе!

Не вернулся...

...Тамаз Джабуа... В то лето он перешел в десятый класс. Трижды его гнали из военкомата: «Не так уж плохи наши дела, чтобы забирать на войну неоперившихся птенцов... Катись отсюда!» Он сбежал на фронт. Аттестат зрелости был выдан... покойному Тамазу Джабуа. Теперь тот аттестат вместе с фотографией Тамаза висит в классе, где он учился. А мать его с тех пор не снимает траура...

...Цензор Челидзе, Барнаба Магулария, Миша Гогиберидзе, Ладико Антадзе, Бучута Каландадзе, Лео Поцхишвили...

— А это кто? — спросил я.

— Не узнаешь? — удивился Митуша.

— Нет, хоть убей, не могу вспомнить!

— Да ты что?! Ведь это Кукури, водовоз! — сказал обиженно Митуша и стал рукавом прочищать стекло над фотографией Кукури.

...Боже мой, как я мог забыть Кукури, брата Нателы!

— А где же его лошадь? Почему здесь нет фотографии его лошади?

Все, кто знал и помнил Кукури, заулыбались. Рассмеялся и я. Потом в памяти моей всплыл и сам Кукури. И щемящая тоска овладела мною...

---

<sup>1</sup> «Изабелла» — сорт винограда. «Изабеллу» обычно сажают под деревом, по стволу которого лоза затем и вьется.

Кукури был писаным красавцем. Работал он водовозом — развозил по чайным плантациям воду в огромной бочке. Для девушек каждое появление Кукури было праздником. Окружив бочку, они с веселыми шутками и прибаутками обливались водой сами и обливали Кукури. А он молча стоял и улыбался. Уж кто-кто, а Кукури знал себе цену.

— Уходи отсюда, видишь, работа стоит! — упрашивала Кукури бригадирша Нина.

— Дай наглядеться на твоих красавиц! — упрашивал бригадиршу Нину Кукури.

— А план? Ты, что ли, будешь работать за них? Катись, катись! — подталкивала Нина упиравшегося парня.

— Нина, прогонишь его — вообще перестанем работать! — кричала девушка.

— Кукури, чтоб ты ослеп, не видишь, что ли, как пылает мое сердце? Полюби меня! — смеялась другая.

— И что стоило твоей матери родить дюжину таких, как ты, парней? Хватило бы на всю нашу бригаду?

— Неужели я не нравлюсь тебе, Кукури? Посмотри на меня как следует!

— Уймитесь, бесстыдницы! Виданное ли дело, чтоб девки так теряли голову из-за парня?! — набрасывалась Нина на девчат.

Промокший с ног до головы Кукури, посмеиваясь, взбирался на свою повозку и трусил к соседнему участку.

Осенью 1941-го Кукури вместе с его лошадью призвали в армию.

Помню, приехал тогда в наше село Филипп Махарадзе<sup>1</sup> и произнес в переполненном клубе такую речь:

— Люди, братья и сестры, видите, что творит кровавый Гитлер? Вставайте, люди, ройте окопы, точите

---

<sup>1</sup> Филипп Махарадзе (1868—1941 гг.) — видный партийный и государственный деятель. С 1938 года был Председателем Президиума Верховного Совета Грузинской ССР.

топоры, перекрывайте дороги! Не видать врагу нашей родной Грузии!

Потом он окинул взглядом рассевшихся на полу учеников и сказал:

— А вы, ребята, помогайте старшим! Страна наша принадлежит вам, так не отдавайте ее на растерзание каннибалу Гитлеру!

Потом, усомнившись, видимо, в наших филологических познаниях, добавил:

— Не уступайте ни вершка нашей родной земли людоеду Гитлеру!

Той же ночью я выполнил наказ Филиппа Махарадзе: вырыл во дворе окоп, отточил топор и разработал детальный план взрыва нашего моста. Однако Митуша отверг мой план.

— Взрывать висячий мост — лишние хлопоты. Перережем канат, и баста! Погляжу я на Гитлера, как он переберется через Губазоули!<sup>1</sup>

На второй день после выступления Махарадзе на фронт ушла половина Гурии, в том числе Кукури со своей лошастью.

Думаете, Кукури отправился на сборный пункт верхом? Ничего подобного! С утра он вымыл, почистил лошадь, причесал ей гриву и хвост, потом покрыл красным атласом (атлас этот Кукури получил в виде премии за шелковичные коконы) и, торжественно вышагивая рядом с ней, явился в военный комиссариат.

Во дворе комиссариата состоялся митинг. Выступали с патриотическими речами, размахивали флажками и лозунгами, читали стихи. Местный поэт прочел от своего имени стихотворение великого Акакия Церетели. Поэт отправился на фронт вместе с Кукури и его лошастью. Никто из них домой не вернулся.

А за месяц до этого был еще случай...

Как-то воскресным утром Кукури пригнал на базар свою единственную корову. Пригнал, привязал к чинаре, а сам уселся на валявшийся тут же камень. Рядом присела босоногая сестренка Кукури — Натела.

---

<sup>1</sup> Губазоули — название реки.



Корову никто не торговал, но от любопытных не было отбоя.

— За сколько продаешь корову, Кукури?

— Сколько дает молока твоя корова, Кукури?

— Молоко-то жирное у твоей коровы, Кукури?

— Как звать твою корову, Кукури?

Кукури одним отвечал, другим нет.

Наконец появился Анания Нибладзе — человек, который при желании мог закупить весь базар, не то что корову.

— Продаешь, парень?

Кукури встал:

— Продаю, уважаемый Анания!

— Сколько просишь?

— Прошу три тысячи, уважаемый Анания!

— Многовато!

— Знаю, уважаемый Анания...

— Так скинь, коли знаешь!

— Для вас, уважаемый Анания, деньги — бумажки, а для меня корова — все мое состояние...

— Зачем же ты ее продаешь? — улыбнулся Анания и самодовольно оглядел собравшихся.

Кукури промолчал.

— Тебя спрашиваю!

— Видишь эту полуголую девочку, уважаемый Анания? — Кукури кивнул в сторону Нателы.

— Две пятьсот!

— Уже месяц девочка не ходит в школу, уважаемый Анания. Ей нужны платье и обувь...

— Отдай, парень, цена хорошая! — посоветовал кто-то.

— Да? А когда я пойду в армию, кормить мою мать и сестру будешь ты? — спросил Кукури советчика.

— Две восемьсот! — сказал Анания, извлекая из кармана кипу бумажек. Кукури, словно замороженный, глядел на огромные сторублевки.

— Забирай!

Анания быстро отсчитал деньги и передал Кукури. Тот долго и внимательно пересчитывал их, потом аккуратно завернул в газету и опустил в карман.

Анания отвязал корову и обратился к стоявшему рядом соседу:

— Как, по-твоему, Акакий, хватит ее человек на шестьдесят? Дом завтра будем перекрывать.

— Вряд ли, уважаемый Анания!

— Так будут еще поросята, индюшки!

— Ну, тогда — конечно!

— Как-никак корова! — Анания похлопал животное по спине.

Кукури удивленно глядел то на Анания, то на соседа. Вдруг у него побледнели губы и раздулись ноздри.

— Зачем тебе корова, уважаемый Анания?

Анания рассмеялся.

— Как это зачем? Зарезать! — ответил за него сосед.

— Зарезать?!

— А ты что думал? — удивился Анания.

Кукури тотчас же достал из кармана сверток.

— Вот деньги, уважаемый Анания! Возвращаю их обратно!.. Как это можно — зарезать корову!

— Ты что, с ума сошел?

— Нет, уважаемый Анания, скорее я дам зарезать себя, чем мою корову! — Кукури осторожно взял из руки Анания конец веревки, всунул ему в карман деньги и обернулся к сестре: — Веди корову домой!

— Три тысячи рублей! — сказал Анания.

— Домой, говорю!

— Три двести!

— Не надо об этом, уважаемый Анания...

— Три пятьсот!

Натела остановилась. Кукури взглянул на босые ноги сестры, потом на деньги, потом на Анания и, наконец, на корову. Он не произнес ни слова. Люди с нетерпением ожидали развязки этого необычного события.

Вдруг Кукури взорвался:

— Ты что, не слышишь меня? Марш сейчас же домой! — прикрикнул он на растерявшуюся сестру, потом сильно толкнул корову: — Домой, корова, домой!

И корова пошла домой. За ней последовал Кукури.

— Болван! — проговорил Анания.

— Да он просто дурак! — добавил кто-то.

А случай, о котором я расскажу сейчас, произошел в феврале 1943 года, на уроке грузинского языка и литературы.

Мы — восьмиклассники бондисхидской средней школы — в ожидании учительницы Джоконды Мелимонадзе сидели у тлевого камина, стараясь хоть немного отогреть окоченевшие руки и ноги.

Село Бондисхиди расположено по обоим берегам знаменитой реки Губазоули (ее в народе называют второй артерией Гурии. Первая артерия, как известно, это река Супса). Через реку перекинут висячий мост, давший селу название<sup>1</sup>. До сооружения моста село называлось Джварцма<sup>2</sup>, но не потому, что здесь был распят Христос, а потому, что именно здесь приняла мученическую смерть от набежавших со стороны Бахмаро татар известная каждому гурийцу монашка Центерадзе. Если не считать святой Шушаник и царицы Кетеван<sup>3</sup>, Центерадзе первая женщина в мире, погибшая во имя христианской веры. Обо всем этом нам известно из лекций, прочитанных в нашем клубе руководительницей кружка атеистов Агнесой Багатурия. И мы гордимся своим историческим прошлым.

Бондисхиди со всех сторон окружен небольшими деревушками — Мециети, Чачиети, Буксиети, Цкварамети, Укунети, Квирикети, Какабети, Коколети и Ципнагвара. Дети, живущие в этих деревушках, после окончания своих начальных школ продолжают учебу в бондисхидской средней школе. Они ничем не отличаются от бондисхидских детей, разница разве только в том, что от бесконечного хождения по всяче-

<sup>1</sup> Бондисхиди (груз.) — «висячий мост».

<sup>2</sup> Джварцма (груз.) — распятие.

<sup>3</sup> Кетеван — мать грузинского царя Теймураза I, в 1624 году была замучена иранским шахом Аббасом.



му мосту у бондисхидцев немного разболтались мозги, а у ципнагварцев глаза чуть печальней, чем у остальных их сверстников, и лица у них невыспавшиеся. Объясняется это просто: от Ципнагвара до Бондисхиди добрых семь километров, поэтому вставать им приходится на целый час раньше других учеников. Во всем же остальном Бондисхиди с окружающими его деревушками — обычное гурийское село, и его средняя школа — обычная сельская школа, не очень-то напоминающая Икалтойскую академию<sup>1</sup>.

Кукури и его сестра Натела жили в Ципнагвара. Я же, спасаясь от городского голода военных лет, жил у своих родственников в Бондисхиди.

Итак, было февральское утро. И мы — озябшие восьмиклассники бондисхидской средней школы — толпились у тлевого камина в ожидании преподавательницы грузинского языка Джоконды Мелимонадзе.

Она вошла в класс без обычного «Здравствуйте!» и «Садитесь!», бросила журнал на стол, подтащила к камину стул, села и протянула к огню побелевшие от холода руки.

— Что, дети, холодно? — спросила она после минутного молчания.

— Холодно, учительница!

— Сколько вас сегодня?

— Восемь из шестнадцати!

— Маловато!

— Ничего, мы начнем, остальные подойдут! — посоветовал Титико Чантурия.

— Где же они до сих пор?

— В дороге, наверно...

— Например?

— Например, Натела Нижарадзе!

— Она придет? Не подведет нас?

— Не думаю, чтобы Натела была способна на такую подлость! — ответил Гури Гогиберидзе.

— А урок ты знаешь? — спросила вдруг учительница.

---

<sup>1</sup> Икалтойская академия — высшая школа в Грузии, возникшая на рубеже XI—XII веков.

— Я? Конечно, знаю!

— В таком случае, пожалуйста, начни!

Скрип дверей спас Гогиберидзе.

В комнату вошла Натела.

— О-о-о, зачем ты так спешила! — воскликнула учительница.

— Мать у меня захворала, учительница! — солгала Натела и, устыдившись собственной лжи, потупила голову.

— Ладно, ладно, не накаркай здоровому человеку!

— А что мне делать, учительница? От моего дома до школы семь верст!

— Надо вставать пораньше!

— Когда пораньше — ночью?

— Не болтай глупостей!.. А урок ты выучила? — Натела еще ниже опустила голову. — Тебя спрашиваю, Нижарадзе!

— Нет, учительница!

В классе наступило неловкое молчание. Оно длилось довольно долго, и все это время учительница не сводила глаз с Нателы.

— Зачем же ты шла в школу? Нет, подумать только: вставать чуть свет, идти в такую даль, в снег, метель и мороз, и ради чего? Чтоб заявить учительнице: «Я не знаю урока»? Можно ли так рисковать из-за трех слов? Вдруг по дороге споткнешься, или сорвешься в овраг, или, не дай бог, волк из лесу выскочит! Ведь тогда пропала ты, и, что самое главное, пропали все мы! Зачем же поступать так неосторожно?! Не лучше ли сообщить телеграммой — так и так, урока не знаю, сожалею, но в школу сегодня не приду...

Классная комната ходуном заходила от хохота. Смеялась Натела, смеялась сама учительница...

— Ладно, иди сюда, погрейся! — Джоконда уступила Нателе свое место у камина<sup>1</sup>, а сама подошла к столу, взяла книгу и начала:

— «Распоряжение». Рассказ Эгнате Ниношвили...<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Нйношвили (наст. фамилия Ингороква) Эгнате (1859—1894 гг.) — грузинский писатель. «Распоряжение» — один из рассказов писателя. Кация Мунджадзе — персонаж этого рассказа.

Долго рассказывала наша учительница про жалкое, голодное, бесправное существование гурийского крестьянства, про такую же голодную, несчастную жизнь его верного заступника — Эгнате Ниношвили. Она рассказывала так тепло и проникновенно, что мы не могли сдержать слез. Наши переживания достигли кульминации, когда уставший, голодный и холодный Кация Мунджадзе, посланный сельскими властями караулить железнодорожный путь, прилег вздремнуть и, боясь прозевать поезд, положил голову на рельс.

Дочитав до этого эпизода, учительница закрыла глаза и продолжала шепотом, наизусть:

«Положив голову на рельс, Кация спал... Сияла полная луна, озаряя небритое лицо Кации. В кустах сладчайшей трелью заливался соловей. Вот вдали показался поезд... Кации снится сон: он почувствовал приближение поезда, вскочил, взял ружье на караул, вытянулся... Подходит поезд — вагоны из чистого золота, и люди в них в золотых мундирах. Они сердито смотрят на Кацию — дескать, как ты посмел спать на посту!.. «Боже мой,— думает Кация,— сошлют, чего доброго, меня в Сибирь! Пропала бедная моя семья!..» Колеса паровоза скользнули по рельсам, где лежал Кация, и продолжили свой бег...»

Учительница умолкла. Мы плакали навзрыд.

— А дальше? — спросил, глотая слезы, Сосико Гигинейшвили. Учительница, с трудом уняв дрожь в голосе, закончила рассказ:

«На рассвете путевой обходчик нашел на рельсах обезглавленный труп. Это был Кация Мунджадзе...»

Минут пять в классе длилось молчание. Потом учительница подошла к камину, подняла Нателу, села на свой стул и спросила:

— Есть вопросы, дети?

Вопросов не было — умер Кация, и все тут. Какие еще вопросы? И вдруг раздался голос Нателы:

— У меня вопрос, учительница!

— Говори!

Натела не спеша подошла к своей парте и спросила:



— Ежели у Кации оторвало голову, кто же сказал про его сон?

Разразись в классе гром и молния и провались все мы в преисподнюю, Джоконда была бы удивлена меньше! И мы заржали так, что в окне зазвенели стекла. Натела села и стала удивленно оглядываться — дескать, что я такого сказала?

Когда класс унялся, учительница подняла покрасневшее лицо:

— Нижарадзе, встать!

Натела встала.

— Собери книги!

Натела собрала книги.

— Вон из класса!

Натела двинулась к двери.

— И чтоб глаза мои не видели тебя на моих уроках!

Натела вышла. Мы сидели, притихшие и удивленные. Никто не ждал такого финала.

— Учительница! — встал я.

— Чего тебе, Нанадзе?

Я сам не знал, чего мне хотелось в ту минуту. Но я чувствовал, что если сейчас не выскажу всего, что накипело в душе, — задохнусь. И я начал скороговоркой:

— Что же это вы, учительница... Что же это вы с утра отравляете нам настроение!.. Читаете нам про голод, несчастье, смерть, про отрубленную голову, про горе и слезы!.. Мало нам своих забот? Прочли бы этот рассказ сытым, довольным судьбой детям — пусть пожалеют бедняка Мунджадзе... А нам хватит и своего горя — войны, холода и голода!.. Да!.. И потом, если хотите знать, Нателу Нижарадзе вы выгнали совершенно напрасно! Вот так!

Я сел, еле переводя дыхание. И тотчас же встала учительница.

— Ты кончил, Нанадзе?

— Да, учительница!

— Все сказал?

— Да, учительница!

— Значит, Ниношвили тебе не нравится?

— Нет, не нравится!

— А кто тут ревел минуту тому назад? Не ты ли, Нанадзе? Или мне показалось?

— Потому он и не нравится, что заставил меня реветь!

— Собери свои книги, Нанадзе!

Я ждал этого, и книги мои были уже собраны.

— Закрой за собой дверь и догони Нижарадзе, она не могла уйти далеко!

Я вышел во двор. И вдруг мною овладело такое чувство, словно все это время я сидел в раскаленной пекарне, а потом кто-то вытащил меня оттуда и ткнул головой в снег.

Натела шла, опустив голову, не спеша. Я окликнул ее. Она оглянулась, остановилась.

— Выгнала меня! — сказал я с улыбкой.

— Слушай, Нодар, чего вы взбесились? Что я такого сказала? — спросила Натела грустно.

— Ну, знаешь... Задавать такие вопросы про писателя нельзя...

— Почему?

— Так. Нельзя!

— А если в рассказе получается неправдоподобно?

— Ну, может, про сон и вправду получилось не того... Но в общем-то все правдоподобно.

Натела пожала плечами.

— А тебя-то зачем она выгнала?

— А я сказал, что нечего читать нам рассказы про чужую нужду, когда у нас и своей достаточно! — Я гордо взглянул на Нателу. — Разве я не прав?

— Не прав, конечно! Наоборот, после этого рассказа у меня как-то стало легче на душе. Значит, были люди, которым жилось хуже нашего!

Ответ был настолько неожиданным, что я от удивления раскрыл рот...

Семь верст молча прошагали мы по снегу. Она не спрашивала, куда и зачем я иду, я не говорил — провожаю, мол, тебя. В этом не было ничего необычного ни для нас, ни для встречавших нас соседок. Про нас

знало все село. Про то, что наша дружба — чистая и нежная — начало большой жизни, и больше ничего. Настал было однажды час, когда зловещая тень чуть не затмила свет двух пылающих сердец. Но тогда сам господь встал в нашу защиту.

Была осень — теплая, солнечная, ядреная.

Я и Натела лежали навзничь в скошенной траве у берега Губазоули. Я читал ей стихи. И вдруг к нам пришло странное умиротворение. Сияющий солнечный венец озарял нас своим светом. Мы слышали дыхание друг друга и биение собственных сердец. И мир наш стал подобен чудесной сказке, наши веки сомкнулись, и дивный сон унес нас на своих легких крыльях...

Я раскрыл глаза и увидел над головой хмурое лицо колхозного сторожа Михако Аробелидзе.

— Что, парень, сгубил сироту? — спросил Михако, и голос у него дрогнул.

— Вы о чем, дядя Михако?

— Что здесь происходит?

— Спали мы, дядя Михако!

— И больше ничего?

— А что больше?

— Гм, так я и поверил!

— Клянусь мамой, дядя Михако!

— Поклянись своей совестью!

— Клянусь совестью!

— Значит, не будить ее?

— Не надо, дядя Михако!

Михако с минуту глядел на спящую Нателу, и лицо у него просветлело.

— Ангел, да и только, сукина дочь! — сказал он тихо.

— Точно, ангел, — сказал я.

Михако погладил меня по голове, улыбнулся и ушел.

У старой мельницы Натела вдруг остановилась и к чему-то прислушалась. Потом сорвалась с места и помчалась к деревне. Я еле поспевал за ней.

У развалин церкви царицы Тамар она вновь остановилась.



— Кукури...— прошептала она и, словно подкошенная, упала на землю.

Из деревни доносились душераздирающие вопли и причитания. Натела не плакала, не кричала. Она сидела с окаменевшим лицом и не двигалась. Я побежал в деревню, привел соседей. Не сумев расшевелить девочку, они подхватили ее на руки и понесли домой. Мать Нателы — с окровавленным, ободренным лицом — тупо взглянула на полуживую дочь.

— Пригляди за дочкой, не то умрет, чего доброго! — сказали соседи.

— Пусть умирает... Пусть сгинет солнце и обрушится небо... Нет моего Кукури...

Месяц Натела пролежала в постели. Потом отошла, встала, но в школу так и не вернулась.

С тех пор я один сидел за нашей партой.

— Пойдем, пожалуй, Нодар! Рыба протухнет! — Митуша взял меня за руку, встряхнул.

Я еще раз взглянул на стенд и зашагал за Митушей.

Да, не думал я, что воспоминания детства окажутся столь грустными...

Утром ко мне в комнату вошла двоюродная сестра.

— Там тебя спрашивает женщина.

— Пусть войдет.

— Я просила, не идет.

Пришлось спуститься во двор. У калитки стояла миловидная женщина лет сорока пяти с кошелкой в руках.

— Здравствуйте, уважаемый Нодар! — поздоровалась она.

— Здравствуйте! — ответил я и добавил ради приличия: — Пожалуйте в дом.

«Ну вот, — подумал я, — гостинец принесла, значит, теперь начнется: сына куда-то пристроить, кому-то позвонить, чего-то достать...»

— Нет, я на минуту к вам...

— Чем могу служить?

— Вы меня не узнали, уважаемый Нодар...— грустно улынулась женщина.

— Признаться, не узнал...

— Не думала я, что не узнаете...

— По-моему, мы не знакомы...

— Я — Натела, сестра Кукури Нижарадзе...

— Натела! — У меня разом ослабли колени, руки, голос. — Натела, — повторил я и опустился на бревно, — Натела, ты...

Она села рядом со мной и извлекла из кошелки банку...

— Вот. Это майский мед... Из собственных ульев... Чист, как янтарь...

— Спасибо...

— Слышала я, с сердцем у вас было неважно? Мед — лучшее лекарство... Про Кукури, говорят, спрашивали... Про его лошадь... Надолго к нам?.. Вы одни или... — Она говорила отрывисто, не поднимая головы, и голос у нее дрожал.

— Натела... Как ты живешь? — прервал я ее.

Натела вздохнула и пристально посмотрела на меня.

— Как видите, уважаемый Нодар... старею... А вы? Как у вас теперь со здоровьем?

— Я ничего, Натела. Ты расскажи про себя. Как ты, как... — Я запнулся.

— Да так, как полагается деревенской бабе...

— Ну, а все же?

— Собираю чай, дою коров, ухаживаю за детьми, мужем...

— Ты вышла замуж?

— Я вышла замуж поздно, уважаемый Нодар... Теперь у меня четверо детей. Учатся они...

— А...

— Хороший человек, честный, трудолюбивый...

— Натела, зайдем же в дом!

— Нет, не стану вас больше беспокоить... — Она смущенно заерзала.

— Натела, вижу, что-то тебя беспокоит. Говори!

— Да. Вот принесла вам... Вы только не подумайте иначе... Вы теперь человек известный... И вам это

больше пригодится...— Она протянула мне пожелтевший тетрадный листок.

— Что это, Натела?

— Это... Это стихи... Ваши стихи...

Я быстро схватил листок и... обомлел.

Ципнагварская Натела!  
Меркнет свет с тобою в споре!  
Ты — моя цинцинатела<sup>1</sup>,  
Ты — и радость, ты — и горе!..  
Утонув в мечтаньях дерзких,  
Губ твоих я чую сладость,  
Как мне мил твой окрик резкий,  
Ты — и горе, ты — и радость!

И я вспомнил — вспомнил живо, словно это было вчера, — как я, заимствуя без зазрения совести стихи у Галактиона<sup>2</sup>, питал ими ненасытную нашу любовь...

— У меня есть и другие ваши стихи, но эти лучше всех...

— И ты никому их не показывала?

— Что вы! — удивилась она. — Как это можно — показывать другим написанные о тебе стихи!

— А детям?

— Ни детям, ни одной живой душе на свете!

К моим глазам подступили слезы.

— Натела, ты чудная женщина! Прости, что не узнал тебя... Теперь-то... Но теперь поздно, Натела!.. Прости меня...

— Вы ни в чем не виноваты...

— Натела!

— Да?

— Я вспомнил все, Натела! Вспомнил Кукури, его лошадь. Вспомнил тот день, когда вы продавали корову и так и не продали. А помнишь рассказ про Качию Мунджадзе и его сон? Впрочем, как ты могла забыть, ведь в тот день мы узнали про гибель Кукури... А помнишь, тогда, в скошенной траве... Я читал тебе стихи, а потом мы заснули... Помнишь?

---

<sup>1</sup> Цинцинатела (груз.) — светлячок.

<sup>2</sup> Галактион — Галактион Табидзе (1892—1959) народный поэт Грузии.



Натела встала. Из глаз ее градом катились слезы.

— Нодар, все это спит во мне... И не буди, прошу тебя!..

Я взял ее натруженную, огрубевшую руку и прильнул к ней долгим поцелуем. Она осторожно высвободила руку, обняла меня, поцеловала в грудь, там, где сердце, повернулась и ушла...

— Прости меня, Натела! — сказал я. Она не ответила.

Долго еще стоял я у калитки, надеясь, что Натела обернется хоть раз. Но она не обернулась.

Она ушла и унесла с собой мое безрадостное детство...



## КОРРИДА

Дато начал свой рассказ, словно кроссворд решал:  
— И вот на рассвете мы в одном из городов Испании...

— Мадрид! — крикнули одновременно я и Нана.

— Когда сбудется? — схватила Нана меня за волосы.

— Никогда! — буркнул я, высвобождая голову.

— Дебил! — сказала Нана.

— Перестаньте! Это был не Мадрид! — разнял нас Дато.

— Сарагоса, — сказала Лили.

— Нет!

— Барселона!

— Нет!

— Бильбао!

— Нет!

— Севилья!

— Нет!

— А ты уверен, что это действительно была Испания? — спросила Нана.

— Как вы подъехали к городу — по морю или по суше? — спросил я.

— По морю! — ответил Дато.

— Валенсия! — попытал я счастье.

— Точно! — Дато хлопнул меня по колену и продолжал: — В полдень отправились в город... Иду по набережной, то и дело оглядываюсь — боюсь потерять из виду мачты нашего корабля. «О, омбре симпатико!» — слышу вдруг. Что такое? Передо мной стоит живая мадонна и удивленно смотрит на меня.

- Ври, ври! — хмыкнула Лили.
- Я не верю глазам и ушам своим... — продолжал Дато.
- Давай, давай! — поддакнула Нана.
- Мадонна спрашивает: «Эрес хеорхино?», то есть «Вы грузин?».
- Си, сеньора, сои хеорхино! (То есть «Да, я грузин!») — отвечаю я.
- Вива хеорхино! — визжит мадонна и повисает у меня на шее.
- О, палома бланка, ес эспаньола устед? (То есть «Вы испанка?») — спрашиваю я.
- Кларо Кеси, Кларо Кеси! — отвечает она.
- Вива Испания! — визжу я и повисаю у нее на шее. В глазах мадонны сверкают слезы... — Дато закрыл глаза.
- Болван! — сказала Лили и вышла.
- Дато так и сидел с закрытыми глазами, пока не вернулась Лили с подносом в руках. Тогда он взял чашку, страстно вдохнул аромат дымящегося турецкого кофе, отпил глоток и продолжал:
- Короче говоря, я и моя мадонна очутились на корриде... Конечно, поход финансировала она, — уточнил он на всякий случай. — Мы, туристы, разумеется, были предупреждены о возможных провокационных кознях, но... каким бы я был грузином, если б отказал моей даме... Одним словом... — Дато умолк и окинул девушек многозначительным взглядом.
- Назови свидетелей! — потребовала Нана.
- На подобные дела свидетелей не водят! — ответил Дато.
- Что же было дальше? — спросила Лили.
- Начался бой. В тот день работал Домингин — кумир испанцев... На арену ворвался бык — белый красавец с янтарными, почти прозрачными рогами... Подобного быка увидишь разве только во сне... Толпа взревела от удовольствия: — Тор...р... ро-о-о! — Таких быков-избранников, оказывается, выводят на арену лишь один раз в год, и то лишь для матадоров-избранников вроде Домингина... Бык сперва завертелся волчком, потом вдруг замер на месте, словно увидел нечто необыкновенное... Домингин стоял в



центре арены и, медленно, чуть заметно размахивая мулетой, шепотом повторял:— То-о-о-ро... То-о-о-ро... То-о-о-ро...— и в ожидании быка отбивал каблуками чечетку в ритме самбы.

— Домингин — сила! — вздохнула Лили.

— Санчес Мехиа по сравнению с ним — просто сопляк! — ответил Дато, не глядя на Лили, и стал в позу, которую, очевидно, занимал тогда Домингин.— Бык вдруг сорвался с места и метеором ринулся на матадора. Грაციозно изогнувшись, Домингин развернул мулету, и спустя мгновение бык с размаху ткнулся в красную ткань. Не сумев сдержаться, животное споткнулось и мордой вспахало песок арены.

— Оле-е! — отозвалась толпа восторженным ревом.

Бык быстро вскочил, отряхнулся и вновь бросился на матадора... И тем же ловким и красивым маневром Домингин ушел от атаки. Снова и снова бык кидался на матадора, а тот стоял невозмутимо, слегка покачиваясь, и каждый раз незаметным движением мулеты отводил от себя рога разъяренного быка.

— Оле-е-е, оле-е-е, тор-р-р-о-о! — неистовствовала коррида.

Бык ревел, бесновался, бросался из стороны в сторону в этом заколдованном кругу. Устав, он остановился, и тут настала очередь пикадора. Он кольнул быка копьем и быстро отскочил в сторону. Кровь хлынула из раны, и белоснежное тело быка вмиг окрасилось в красный цвет. Удивленное животное обернулось и, увидев перед собой вместо человека покрытого тюфячными латами коня, ринулось на него. Удар был сильным, конь покачнулся и, не выдержав натиска, упал вместе со всадником. Его задранные вверх ноги беспомощно барахтались в воздухе. Бык отступил, примерился, и, не успев приподнявшийся было на передние ноги конь вскочить, с размаху вонзил рога в живот... Обезумевшего, с окровавленной мордой и рогами быка окружили помощники матадора, стараясь выманить его на середину арены, а тем временем упряжка осликов, позванивая бубенчиками, волокла по песку выпотрошенного, выпускавшего последнее дыхание коня... Потом быка обступили бан-

дерильеро, и в спину и бока животного одна за другой впились разукрашенные пестрыми лентами бандерильи... Бык замычал. Истекая кровью, с затуманенными от боли и гнева глазами, он уже без цели бродил по арене и, наконец, высунув в изнеможении язык, остановился. Домингин, видно, считал ниже своего достоинства нападать на обессиленного противника. Он ждал. Но бык словно окаменел. Тогда матадор обернулся лицом к публике и поднятыми вверх руками победителя приветствовал ее. Рев обезумевшей многотысячной толпы оглушил меня. Коррида ликовала. Но торжество ее оказалось преждевременным. Бык вдруг сорвался с места и...

— А-а-а-а! — вырвался стон у толпы.

Не знаю, то ли Домингин уловил в этом крике тревожное предупреждение, то ли сработало в нем обостренное чутье тореадора, но он успел повернуться и в последнюю секунду уйти от неминуемой гибели — рога быка промелькнули в сантиметре от его груди...

На арене вновь началась пляска смерти... Разъяренный бык в неистовстве нападал на человека, и каждый раз человек ловко отражал его атаки. Это был каскад маневров, это была демонстрация зоркости глаз, силы мускулов, смелости, красоты и пластики. Это был фейерверк подлинного искусства.

...Наконец у животного иссякли последние силы. Оно выдыхалось. Бык остановился, опустил голову и, тяжело дыша, с минуту молча глядел на песок. Вдруг он вздрогнул, напрягся, и я услышал его дикий, душераздирающий вопль:

— Люди, что вы сделали со мной? Куда девалось мое здоровое, сильное, пышущее жизнью тело?!

И тогда Домингин оголил шпагу и подошел к быку. Теперь перед матадором стоял не белый, а красный бык.

Перед матадором стоял красный бык — наш кормилец, наш верный и безропотный друг, наш благословенный бык Шинда<sup>1</sup>. Исхудалый, с ввалившимися

---

<sup>1</sup> Ш и н д а — распространенная в Грузии кличка красных быков, буквально — «кизилового цвета».

ся боками и облезлой шеей, он покорно стоял, равнодушно жевал сухую солому, хвостом отмахивался от назойливых мух, моргал большими, умными и печальными глазами и ждал, когда мой отец после обеда снова запряжет его в плуг и пойдет с ним прокладывать борозды в Алазанской долине.

И вот теперь этого быка — вскормленного нами кормильца и верного друга — собирались убить, убить вероломно, не в честном, открытом бою, а исподтишка, коварным, предательским ударом... И собирался это сделать гордый сын гордой страны...

Я с трудом проглотил подступивший к горлу соленый комок и закрыл лицо руками. Не помню, как я покинул корриду, мою очаровательную спутницу... Я шел, и за мной неслись горячее, как раскаленная лава, дыхание и оглушительный рев многотысячной толпы.

Я вернулся на свой корабль и, пока он курсировал вокруг Пиренейского полуострова, ни разу не спустился на берег, ни разу не ступил на землю Испании...

В комнате наступила тишина. Опешившие девушки сидели молча, словно куклы. Рассказ Дато, начатый в шутливом тоне, обернулся неожиданной для нас концовкой.

Я сидел, закрыв глаза, и чувствовал, как тают в розовом тумане сладкие грезы моего детства, как исчезают в зыбком мареве моя Испания, баски, андалузские ночи, Карменситы и доны Хосе, кастаньеты, знойное солнце, республиканцы, «Бандера росса», Гарсия Лорка, отец мира нашего — Сервантес... Исчезал, улетучивался несбывшийся, красивейший мой сон. И меня взяла досада. Я разозлился сам на себя. Я вскочил и крикнул:

— Ерунда все это!.. Все, что ты тут наговорил, — ерунда!

Крикнул и тут же почувствовал, что переборщил.

— Почему? — спросил Дато спокойно, но я заметил, как он вдруг побледнел.



— Потому, что на кладбищах Испании покоятся сотни матадоров, погибших на корриде!

— Я еще не слышал, чтобы бык бросал вызов матадору, — улыбнулся Дато.

— И все равно — ерунда!

— Ну, знаешь! — вмешалась Нана.

— Замолчи, ради бога! — отмахнулся я.

— Долой гуманизм! Да здравствует каннибализм! — хлопнула в ладоши Лили.

— Дура! Кому нужен твой сопливый псевдогуманизм?

— А бык? — спросила удивленно Лили.

— Какой бык?

— Тот самый. Белый бык. Тебе не жаль его?

— А вы, уважаемая, какое бы из животных вы разрешили использовать для поединка с тореадором? — спросил я насмешливо.

— А никакое! — ответила Лили.

— Как же поступить бедному тореадору?

— Так, как поступаем мы, грузины...

— То есть?

— По крайней мере так убивать быка — это варварство!

— Ах вот оно что! Варварство?! А холостить годовалого бычка, в три года впрягать его в ярмо, в течение десяти лет не давать ни дня покоя и отдыха, заставлять с утра до ночи пахать, сеять, убирать, таскать песок и камень, лупить его, драть с него семь шкур, а потом — состарившегося, обессиленного, истощенного — зарезать, повесить за ноги, разделить на куски и загонять в тридорога, — это, по-твоему, гуманно? Это, по-твоему, красиво?! — Чтобы скрыть охватившее меня волнение, я подошел к окну. По улице, задрав огромный ковш, с грохотом тащился экскаватор. Мелкой дрожью задрожали кофейные чашки на столе. Шум экскаватора постепенно удалился, и в комнате вновь наступила тишина.

— Да-а... Чем больше мы любим животных, тем они вкуснее... — проговорила Лили и улыбнулась натянутой, кривой улыбкой.

Дато возился с трубкой. Нана сидела, уткнувшись лицом в ладони. Вдруг она тихим голосом начала:

...Радость ты делил со мною и в несчастье был подспорьем,  
Одевал меня зимою, выручал с нуждою в споре.

У меня по телу пошли мурашки.

Был ли грустный день поминок, свадьбу ль шумную  
Мы тебя же, наш кормилец, на закланье посылали, <sup>справляли,</sup>

Нана убрала с лица ладони и продолжала:

Шел на плаху ты покорно — ведь всегда ты людям верил.  
Боль мою, о друг наш верный, я стихам своим доверил...<sup>1</sup>.

...У меня словно камень с сердца свалился...  
Я быстро схватил фуражку и направился к двери.

— Постой, куда ты? Не проводишь меня? — спросила, вставая, Лили.

— Сегодня тебя проводит Дато! — ответил я и вышел.

У Верийского базара, перед мясным магазином, стоял огромный, длинный, как поезд, рефрижератор. С накинутыми на головы мешками, словно куклук-склановцы в капюшонах, рабочие с гвалтом разгружали машину. Пахло кровью и мясом. Картина была не из захватывающих, но тем не менее я остановился. Стоявшие в кузове рабочие, ворча и ругаясь, подавали двум другим окоченевшие говяжьи туши, и те, тоже ворча и отругиваясь, тащили их в магазин.

— Закурить не найдется? — обратился ко мне один из рабочих, согревая дыханием озябшие руки.

Я протянул ему пачку сигарет и спросил:

— Мороженое?

— Свежие пасутся в поле! — ответил он и попросил спичек.

Шел на плаху ты покорно — ведь всегда ты людям верил.  
Боль мою, о друг наш верный, я стихам своим доверил,—

вспомнил я и вдруг почувствовал, что готов расплакаться. Я молча отвернулся и зашагал по улице. У сверкающего огнями здания филармонии я остано-

---

<sup>1</sup> Отвертки из стихотворения Ш. Нишнианидзе «Вол».

вился и взглянул на фигуру Музы. Раскинув руки, она глядела на меня своими огромными красивыми зелеными глазами. И мне показалось, будто Муза сказала мне:

— Ничего не поделаешь, друг. Так устроена жизнь...

В ту ночь сон долго не шел ко мне. Потом тьма превратилась в розовый туман, и я почувствовал, как ко мне возвращаются сладкие грезы моего детства. В зыбком мареве стали возникать милые сердцу видения Испании, басков, андалузских ночей, Карменсит и донов Хосе, кастаньет, знойного солнца, Дон-Кихота и Санчо Пансы, республиканцев, «Бандера россса», Гарсии Лорки и отца мира нашего — Сервантеса... Я погружался в сон, окутанный розовым туманом, — в счастливейший из когда-либо виденных мною снов...





## КРОВЬ

Стриженный мальчуган с нанизанными на прутик бычками в руке стоял понурив голову под липой, печальными глазами разглядывал свои облепленные грязью голые ноги и думал: «До чего же этот старик похож на моего отца! Седые волосы... Черные брови... Широкий нос... Красивые глаза... И голос — низкий, приятный... Если закрыть глаза, можно представить, что он — мой отец!..»

И мальчуган зажмурился.

— Вот поэтому-то я и пригласила вас, уважаемый мой Кишварди!.. Нет больше моих сил! Совсем отбился от рук, негодник!.. Все дети как дети — с книгой не расстаются, а он знай себе день и ночь ловит этих бычков!.. А что он выкинул третьего дня?! Бросил в наш общий — с Гоподзе — колодец огромный арбуз! Арбуз лопнул, и вот уже неделя, две семьи вместо воды пьют компот!..

— Убей меня бог! Это правда, мальчик?! Уж не беспокойтесь, уважаемая Юлия! Вот как заберу его в Гурию, да как повешу за ногу на чинаре, — напляшет-ся он у меня!

— Не знаю, за что вы его там повесите, но я так скажу: счастливая его мать, не пришлось ей глядеть на этого негодника. И отец его тоже, между прочим, счастливый...

— Как вы полагаете, уважаемая Юлия, не будет, значит, с ним сладу?

— Не знаю, ничего я не знаю... Судите сами: послала я его недавно на мельницу... Пуд отборной кукурузы унес, изверг, а вернулся с пятью фунтами

муки в мешке. Остальное отдал, оказывается, непутевым детям Валико Кухалашвили! «Много их в доме,— говорит,— живут впроголодь...» Каково, а?!

— Убей меня бог! Это правда, мальчик?!

— Это еще что! Позавчера он да дружок его — босяк Кукури Угулава — прокрались в сад — подумать только! — своего же учителя географии Датиго Цверава, нарвали персиков и выменяли их на табак! Каково?!

— Убей меня бог! Это правда, мальчик?

— Да что вы заладили — «правда?», «правда?»! Что же, по-вашему, я вру?

— Что вы, что вы, уважаемая Юлия! Это я к тому — неужто нет для него спасения? Неужто он пропал совсем?!

— Нет, почему же... Спасти его, конечно, можно, но это свыше моих сил... Здесь нужна крепкая, мужская рука! К тому же, кроме него, на моей шее еще два зверя — Зураб и Вахтанг, дети моего Коли. Те почище этого. Вот вернутся с выгона — убедитесь сами!

— Мда-а-а... Что же вам сказать, уважаемая Юлия!.. Пока были живы его родители — меня и близко к ребенку не подпускали... А теперь как мне быть? Как приручить его, как согреть его сердце? Чужой я для него, понимаете? Чужой!..

— Не говорите, уважаемый Кишварди! Ведь он как-никак мужчина и с мужчиной легче найдет общий язык... К тому же он продолжатель вашего рода...

— Оно-то, конечно, так... А как у него с учебой, уважаемая Юлия?

— Гм!.. Мальчишка, укравший персики у своего учителя и ради развратной книжки «Декамерон» продавший серебряные ложки собственной бабушки,— о какой учебе может думать такой мальчишка, скажите сами, ради бога, уважаемый Кишварди!

— Это правда, мальчик?! Решено! Заберу его в Гурию и повешу за ногу на чинаре!

— Да вот, пожалуйста, полюбуйте на него: мы тут убиваемся, а ему хоть бы хны! И в ус не дует!

А мальчик стоял под липой с закрытыми глазами и думал: «Устала бедная моя бабушка Юлия...

Какой у нее раньше был приятный голос, а теперь — во какой злой!.. А может, это мне так кажется? Этот — дед, что ли? — говорит так спокойно и приятно... Да, видать, устала она... Эх, хоть бы сейчас она не послала меня с этим — дедом, что ли? — а впредь я никогда не обижу ее, никогда!.. Лишь бы не послала... Лишь бы не послала...»

— Сирота он, уважаемая Юлия... Кроме розог, ему и ласка нужна...

— Сирота сироте рознь! Много он понимает в ласке! Ласка...

— Это правда, мальчик?! А вот как заберу его в Гурию, да как повешу за ногу... Когда его забрать, уважаемая Юлия?

— Да хоть сейчас! Долго ли его снаряжать?

— Как же так... Мальчишка гол как сокол...

— Таким я и привезла его в прошлом году из Авчала, уважаемый Кишварди... Может, прикажете справиться ему чоу с позументом?

— Бедный мой мальчик!

— Откушали бы перед дорогой, уважаемый Кишварди...

— Да нет, не беспокойтесь, уважаемая Юлия... Закусим в Самтредиа, а там и до дому рукой подать...

— Воля ваша... Счастливого вам пути... Да хранит вас святой Георгий!..

— Дай бог вам счастья, уважаемая Юлия!..

— Вот, захватите с собой, уважаемый Кишварди!

— Что это?

— Да документы его разные... В сентябре, надо полагать, пошлете его в школу,— понадобятся... В четвертый класс он перешел... Правда, в справке ошибка — вместо Ломджария Нодари записали Ломджария Надири<sup>1</sup>. Впрочем, по-моему, не ошибка это, а так оно и есть.

— Это правда, мальчик? Что ж, заберу его в Гурию и повешу за ногу на чинаре...

— Вешайте, за что хотите, но только чтоб глаза мои его больше здесь не видели!

---

<sup>1</sup> Игра слов: Нодари — мужское имя, надири — зверь.



— За ногу, за ногу повешу!  
— Бог вам в помощь!  
— А не поможет, так возьму его в такой оборот, что аж камни от жалости заплачут!  
— Ну, так до свидания, уважаемый Кишварди!  
— Всего вам хорошего, уважаемая Юлия!

Сия приемо-сдаточная процедура произошла в августовский полдень 1938 года, в местечке Хони, между имеретинской бабушкой — то есть матерью матери Нодара Ломджария, уважаемой Юлией Микеладзе, и его гурийским дедом — то есть отцом отца, уважаемым Кишварди Ломджария.

А спустя час мальчик, то есть Нодар Ломджария, рожденный 14 июля 1928 года в городе Тбилиси, в семье служащего, плелся, словно теленок на веревке, за дедом, понуро шагавшим по раскаленной, пыльной дороге...

Из Хони до Кулаши дед и внук добрались на пролетке, из Кулаши в Самтредиа ехали на линейке. Здесь, не перекусив, пересели на грузовик чайной фабрики, следовавший в Чохатаури. Оттуда пешком направились в село Интабуети.

Дед шел впереди, внук — за ним. Измученный старческим недугом дед тяжело кряхтел и стонал. Завидев идущего навстречу путника, он умолкал, низко с ним раскланивался, а затем, выждав несколько минут, вновь начинал стонать и кряхтеть. Иногда он молча оглядывался на мальчика — так оглядывается старая кляча на отставшего жеребенка, боясь потерять последнего своего отпрыска.

Мальчик шел и думал: «Вот впереди шагает старик — хилый, больной, стонущий, с выцветшей шляпой на голове... Он обещает повесить меня за ногу на дереве... Этот старик — мой дед. Отец моего отца... Дед!.. Что же заставляет меня следовать за ним? Почему я покорно, словно раб, тащусь по этой пыльной дороге? Два шага в сторону — и, пожалуйста, валяй себе на все четыре стороны!.. А вот и нет! Не могу! Сила какая-то толкает меня в спину — шагай

за стариком, и никаких чертей! Что это за сила? Почему я, уставший, голодный, изнемогающий от жары и жажды, не смею свернуть с дороги? Почему? Как эта сила называется?»

— О чем ты думаешь, внучек? — обернулся вдруг старик.

— Ни о чем! — ответил, не задумываясь, опешивший мальчик. Он ожидал всего, но только не такого вопроса.

Старик сошел на обочину дороги, присел. Отдышавшись и накряхтевшись, он поглядел на мальчика, потом стал считать, загибая пальцы: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

— Родился ты, внучек, в двадцать восьмом. Теперь у нас — тридцать восьмой. Значит, тебе пошел одиннадцатый... Взрослый уже... Как же это ты можешь ни о чем не думать, а? Или скрываешь от деда?

— Да нет, дедушка, не думал я ни о чем! — солгал мальчик.

— А пора бы и привыкнуть думать, внучек, пора!..

Старик, кряхтя и охая, встал и продолжил свой путь. Мальчик, словно теленок на веревке, послушно поплелся за ним...

Мальчик — загоревший, с взъерошенными волосами — стоял, опершись на заступ, под чинарой, грустными глазами разглядывал свои облепленные грязью голые ноги и думал: «Как она состарилась, согнулась за один год! Лицо — одни морщины... Голос какой-то сиплый. И все же она похожа на мою мать — молодую, красивую, нежную, кареглазую, добрую мою маму. Похожа и волосами и походкой... Если закрыть глаза, можно представить, что она — моя мать!»

Но мальчик не зажмурился. Мальчик испугался.

— Потеряла я покой, уважаемый Кишварди! Призрак несчастной его матери мерещится мне во сне и наяву... Голос собственной совести преследует меня... С тех пор, как вы взяли его с собой, хожу я опустошенная, словно сердце вырвали из гру-

ди... Верните мне моего ребенка, уважаемый Кишварди!..

— Гм, ребенком он был тогда, когда я взял его от вас. Теперь он — мужчина, и пусть решает сам. Захочет вернуться к вам — я не стану его удерживать.

— Обижен он на меня... Если кто и сумеет помирить его со мной, то только вы, уважаемый Кишварди. Человек вы мудрый...

— У вас ведь еще двое таких, уважаемая Юлия... Оставьте мне хоть одного!

— Да разве в счете дело? Два, десять, сто — все одно! Внук — он и есть внук для бабушки, уважаемый Кишварди!

— Так-то оно так... Но как же мне быть? Ведь после моей смерти счет рода Ломджария должен начаться с него?..

— Так я же не изменю его фамилию? Пусть и те двое будут Ломджария, но этого-то отдайте мне!

— Отнимать, значит, мальчика приехали, уважаемая Юлия?!

— Не отпускайте меня на тот свет с грехом на душе! Как же я там взгляну на его мать?!

— Э, уважаемая Юлия, это еще вопрос — кто из нас отправится туда раньше. А каково мне будет глядеть на его мать и отца, если я опережу вас?

— Не дай вам бог смерти, уважаемый Кишварди!

— Мальчик — он и поле мое, и виноградник, и мельница, и могила, и надгробный камень... Нет, не отдам его, хоть убейте меня!

— Ну так я убью себя! Вот здесь, перед вами!

— Господь с вами, уважаемая Юлия, что вы такое говорите!.. Пойдешь с ней, мальчик?

— Да разве он признается? Он же стесняется вас!

— Это правда, мальчик?

— Ему материнская ласка нужна, уважаемый Кишварди! Постирать, погладить, выкупать, спинку потереть, причесать... Разве вы можете заменить ему мать?

— Ну, это как сказать... Ухаживал я за ним до сих пор, слава богу, неплохо... Вас, по крайней мере, на помощь не звал...



— Не спорю, не спорю, уважаемый Кишварди! Но все же... Ноги мальчику перед сном помыть, в школу за ним бегать... Не мужское это дело!..

— А он и на нашу школу не в обиде... Это в вашей школе его зверем нарекли, да и вы, помнится, согласились с этим... А он не зверь вовсе...

— Почему у меня язык не отсох тогда!

— Однако не думайте, что он у меня превратился в ангела или перестал красть персики!

— Ну и на здоровье!

— Или, думаете, он перестал раздавать муку?

— Да бог с ней, с мукой-то! Все мое принадлежит ему! Пусть хоть сжигает, разве я против?

— И курит, стервец!

— Это правда, мальчик?

— Вы меня, меня спросите! Опустошил и карманы мои, и кисет!

— Ну и пусть курит себе на здоровье! Ведь сами сказали — мужчина он!

— Потерпите еще месяц. Вот получу премию за шелковичные коконы, приодену его... Не пойдет же он к вам таким оборванцем!

— Вы только отпустите, а одеть, обуть его — это уж моя забота! Сниму собственное платье!

— Гм, очень оно подойдет ему!

— Конечно, вам — шутки шутить, а у меня сердце кровью обливается!

— Я ведь сказал, уважаемая Юлия: он уже взрослый. Пусть решает сам!

— Вы для него — все равно что икона для верующего, и каждое ваше слово — все равно что проповедь божья... Скажите ему, уважаемый Кишварди!..

— Побойтесь бога, уважаемая Юлия! Как же это я скажу своей плоти и крови — уйди, мол, из моего дома?!

— А я разве чужая ему? Разве он не моя плоть и кровь?.. Всего год, не больше, осталось мне жить! Умоляю вас, не убивайте меня раньше срока, подарите старушке этого мальчика!

— Уважаемая Юлия...

— На колени, на колени стану перед вами!..

— Да вы что! Встаньте, ради бога!.. Будь по-вашему!..

— Великий боже! Ниспошли ему счастья и радости!

— Не видать мне больше радости и счастья...

— Матерь божья...

— Иди с бабушкой, внучек!..

Такой диалог состоялся ровно год спустя после описанных выше событий между гурийским дедом и имеретинской бабушкой мальчика. Но это уже была не прямо-сдаточная процедура. Это было бурление двух кипящих кровей, рыданье двух трепещущих сердец. И эта борьба двух равных по силе любви страстей отдавалась в мальчике учащенным биением сердца и соленым комом в горле, холодной испариной и жгучим ознобом, дрожью в теле и болью в груди. Неведомая сила то властно тянула его к бабушке, то мощным толчком бросала к деду. Несколько раз мальчик ощущал острую боль — словно его тело пронзало насквозь раскаленное копьё. И все время, пока между стариком и старушкой длился этот странный, горький диалог, мальчика не покидало необъяснимое чувство страха, тревоги и ожидания.

Бабушка встала, подошла к мальчику, обняла его.

— Радость ты моя, свет моих очей, пойдем со мной, подари мне два лишних дня жизни!..

Бабушка плакала, и горячие ее слезы капали на голову мальчика. Выплакавшись, она осторожно привлекла его к себе, но мальчик стоял не двигаясь, стоял, как железный кол, как дерево, глубоко вросшее в землю корнями.

— Иди с ней, внучек, иди со своей старой бабушкой... Налюбуется она тобой, вернешься ко мне... К тому времени и я соскучусь без тебя... А как ты думал? Быть внуком — нелегкое дело! Трудно, трудно быть внуком, особенно внуком таких вот старых развалин, как я да твоя бабушка... Иди с ней, дорогой... А твои топор, заступ, мотыга, давилыня, корзина, корова, теленок, коза и свинья никуда не денутся, будут ждать твоего возвращения...

Мальчик слушал, смотрел и удивлялся: топор, мотыга, заступ, корзина валялись в разных концах двора, корова, теленок, коза и свинья были в разных концах двора, — как же дедушка, не видя их, точно указывал рукой именно туда, где находился каждый из названных им предметов и животных?

А дед продолжал:

— Вот твоя сумка, учебники твои — грузинский, история... Что еще у нас с тобой? Пожалуй, ничего. Брюки, рубашка и чуваки на тебе. До Самтредиа топай босиком, иначе чуваки не дотянут до дому. Вот и все... Ну давай!

Кишварди Ломджария понял, что его внук сейчас превратился в железный кол, в дерево, глубоко вросшее в землю корнями, настолько глубоко, что вырвать его обычными увещеваниями невозможно. Здесь нужен был иной подход. Но какой?

Кишварди Ломджария понял и то, что его внук сейчас стоял посреди заколдованного круга и притягательная сила двух кровей властно тянула его в разные стороны. Какая из них возьмет верх? Какая кровь победит? Ждать исхода этой борьбы нельзя... Кому-то из них нужно первым перекрыть, перерезать канал, в котором кипит и бурлит взбунтовавшаяся кровь...

И Кишварди Ломджария опередил бабушку:

— Ну чего ты ждешь? Устал я болтать с тобой!

Мальчик испуганно взглянул на деда.

— Иди и не смей оглядываться! Понял?!

Горькую обиду на деда и нежную жалость к бабушке мальчик почувствовал одновременно. Подступившие слезы затуманили глаза, голова безвольно опустилась на грудь, и он, не вымолвив ни слова, покорно, словно теленок на веревке, побрел по пыльной чохатаурской дороге за своей дряхлой, сгорбленной, облаченной во все черное бабушкой...

Кишварди Ломджария сидел у камина и ждал, пока в медном котелке закипит вода.

Кишварди Ломджария глядел на огонь и думал. Думал и в то же время старался уйти, скрыться от



своих невеселых дум. Но куда человеку деться от собственных дум? Ведь человек не бог... «Не нужно было отпускать мальчика... Но не смог я устоять перед горем старушки... А теперь сам в ее положении. На той неделе схожу к ней, попрошу вернуть мальчика. Не отдаст, заберу силой... «Какое,— скажу,— имеешь ты право отнимать у меня мою плоть и мою кровь? Ведь ты не бог!» Но... ведь она может ответить мне теми же словами?! Ведь я сам тоже не бог, а всего-навсего простой смертный... Ведь мальчик принадлежит ей так же, как и мне... Вот если бы я был богом! Ох, трудно, трудно быть человеком, гораздо труднее, чем богом... Слава богу, в этом сам убедился наш спаситель — Иисус Христос... На той неделе пойду к ней, брошусь в ноги... Хотя нет, неделю мне не стерпеть... Пойду послезавтра... Нет, завтра! Завтра же с рассветом отправлюсь в путь... Господи, скорее бы наступило утро!..»

Так думал Кишварди Ломджария, сидя у камина и ожидая, когда в медном котелке закипит вода, как вдруг открылась дверь и на пороге показался мальчик с поникшей головой и перекинутыми через плечо чувяками.

— Слава тебе, господи! — воскликнул дед.

— Я вернулся,— прошептал внук.

— Я знал, что ты вернешься,— сказал дед.

Потом Кишварди Ломджария налил в медный таз горячей воды из медного котелка и долго мыл уставшие ноги внука. Потом приготовил ему постель на тахте, а сам пошел спать в маленькую каморку...

В полночь старика разбудил голос мальчика:

— Дед, можно мне лечь с тобой?

— Иди, внучек! — ответил старик и придвинулся к стене.

Мальчик лег, прижался к деду.

«Какой он холодный, бедный дедушка!» — подумал внук.

«Какой он горячий!» — подумал дед.

Спустя некоторое время дед спросил:

— А знаешь, что привело тебя ко мне?

— Нет!

— Так я скажу тебе: кровь тебя привела ко мне, вот что! Кровь — великая сила, внучек!..

Больше в ту ночь они не обменялись ни словом. Ни о чем не думали, ни о чем не говорили.

Дед и внук спали счастливым сном...

Думала и говорила кровь. Но о чем думала и говорила кровь, об этом известно одному богу!..



## СОЛНЦЕ

Посвящаю памяти моего друга Гулды Қаладзе. Он первый показал мне зеленый луч, засиявший на диске заходящего в море солнца.

В шесть часов утра оно взошло и золотой диадемой увенчало гору Эрцаху.

— Здравствуй, Эрцаху!

— О Творец! Где ты? Истомилась душа в ожидании!

— Я здесь! — сказала Солнце.

— Мороз сдавил меня своими обручами, трещит голова, дышать уже нечем! Всю ночь я не смыкала глаз! Помоги!

— Терпенье!

Солнце поднялось выше, диск его засиял, засверкал, и вдруг с неба хлынул поток света и тепла. Ледяные обручи на челе Эрцаху закрипели, потом напрыглись и... лопнули. Эрцаху вздрогнула.

— Слава тебе, Творец! — воскликнула Гора, вытирая со лба холодный пот. Светило улыбнулось. Вокруг его царственного ока легли мелкие морщинки.

— Слава тебе! — повторила Эрцаху и умолкла.

Солнце поднималось все выше. В ущельях, балках, расселинах склонов Кавкасион нарастал великий шум. Гремели, грохотали низвергающиеся с головок кружительных высей лавины. Клубы пара и снежной пыли окутали Эрцаху.

Потом туман рассеялся. Прояснилось. Гора протерла глаза и украдкой взглянула на Солнце. Оно было уже высоко.

— Началось! — проговорила Гора.

— Что? — спросило Солнце.

— Рождение!

— Чье?



— Детей и внуков моих — Кодори, Псоу, Келасури, Гализги...<sup>1</sup>

— И все они твои?

— Мои и моих сестер.

— Да умножится род ваш! — благословило Солнце Гору.

Эрцаху улыбнулась:

— О нет, Творец! В нашем роду наоборот: детей у нас великое множество, внуков меньше, правнуков и того меньше и, наконец, один-единственный потомок — Море!

Море — огромное, необозримое, необъятное — мирно спало у подножия Кавкасиони.

— Море! — вспомнило Солнце.

...Мальчуган гнал со двора козу на выпас. Обернувшись, чтобы закрыть калитку, он вдруг увидел Солнце и Эрцаху.

— Мама! — крикнул мальчуган. — Взгляни на гору и солнце!

Мать у очага кипятила молоко. Она взглянула на озаренную солнцем гору, и тут же молоко убежало.

— У, чтоб тебе повылазило! — крикнула в сердцах женщина вдогонку сыну.

— Да ты что, баба, ошалела? Ребенок только проснулся, а ты уже проклинать его! — отозвался муж.

— Погляди-ка на Эрцаху, — тихо сказала женщина.

Муж мотыжил во дворе кукурузу. Сощутив глаза, он взглянул на чудо, давно ставшее привычным.

— К погоде, — проговорил он и продолжал работу.

Море все еще сладко дремало, шурша белыми ресницами по прибрежному песку.

— Шшррр. Шшррр... Шшррр...

— Утро доброе! — приветствовало его Солнце.

— О, Светило? Доброе утро!

— Что ты делаешь?

---

<sup>1</sup> Кодори, Псоу, Келасури, Гализга — названия рек.

— Три дня тому назад у меня утонул человек... Исчез... Все во мне так и кипело, бурлило от волнения! Его не было видно нигде! Но наконец он все же нашелся. И тогда только улеглось мое волнение...

— Кто же он?

— Не знаю... Никто его не искал... Мои волны вынесли его на берег... Потом пришли два человека и унесли его куда-то.

— Куда?

— Не знаю... Ведь я не могу следовать, как ты, за людьми! — улыбнулось Море.

— Началось! — сказала вдруг Солнце.

— Что? — спросило Море, широко раскрыв веки.

— Люди пришли.

Люди шли к морю в одиночку и группами. Раздевались. Бегали. Кувыркались. Гонялись друг за другом. Обнимались. Ели. Пили. Собирали пестрые камушки, ракушки. Жгли щепки и хворост. Или же просто стояли у берега и швыряли в море камни. Потом, когда Солнце начинало припекать, люди укрывались под раскрытыми зонтами, в сооруженных наспех из простынь палатках. И тогда Солнце не видело их.

— Пока меня нет, они неделями смотрят в небо, ждут не дождутся моего появления... А стоит мне показаться, как они начинают прятаться от меня под своими зонтами, шалашами, палатками... Почему они поступают так странно? — сказала Солнце.

— А в чем ином поступают они не странно? — спросило Море.

Солнце поднялось высоко-высоко. И люди с этой высоты казались Солнцу мелкими, еле различимыми существами...

Со двора обнесенной каменной оградой дачи выбежал старик, неуклюже затрусил по дороге. Добравшись до другой дачи, он, словно подкошенный, опустился на лежащий у ворот валун и крикнул:

— Приди ко мне, человек, сын мой при смерти!

Вышел со двора человек и утешил пришедшего:

— Не бойся!

— Как же мне не бояться, если он умирает?!

Тогда тот, подавший надежду человек побежал куда-то и привел с собой много других людей. Трое из них направились к больному.

— Профессора пришли! — сказал кто-то.

— Неужели?!

Молчание и надежда воцарились в доме.

— На что жалуетесь? — спросил больного первый врач и сам же устыдился своего вопроса: больной уже был не в силах говорить...

— И давно он так? — спросил у молодой испуганной женщины второй врач и сам же устыдился своего вопроса: больной страдал уже немало лет...

— Воздуха! — простонал больной.

Распахнули окна.

— Закройте заднюю дверь! На сквозняке он простудится! — сказал третий врач. Сказал, опасаясь, как бы потом люди не упрекнули его в молчании. И поняв это, он тоже устыдился своих слов.

— Откройте окна, двери, разломайте стены... Дайте мне воздуха!.. Дышать дайте!.. — Опершись на плечи молодой жены и верного друга, больной метался, рвался, бился, просил лишь одного — воздуха.

Отец отозвал в сторону первого врача.

— Скажите, ради бога, что с ним?

— Положение, конечно, тяжелое, но если вовремя принять меры... — солгал врач.

— А как вы думаете, доктор? — обратился отец к другому.

— Мм... Если срочно доставить его в Москву... — солгал и другой.

— Да что за болезнь такая? Как она называется? — спросил отец третьего.

— Это — смерть! — вырвалось у него.

— Как? Как вы сказали? — переспросил изумленный отец.

— Смерть! — повторил врач.

— А... А лекарства? Ведь...

— Единственное лекарство от этой болезни — смерть.

Врач надел шапку и вышел. Остальные последовали за ним.



— Ну, что? Что они сказали? — бросилась к отцу молодая женщина.

— Сказали, что все будет хорошо! — солгал отец.

— Что там происходит? — спросило Море у Солнца.

— Умирает человек.

— Как умирает? А что делают врачи?

— Врачи ушли! — пожало плечами Солнце.

— Побудь с ним ты!

— Но мне нельзя останавливаться!

— Побудь с ним! — повторило Море.

— Чем я ему помогу? Ведь его покинули даже люди!

— Люди!.. Люди очень часто и легко покидают друг друга... Но ты можешь спасти его! Побудь с ним!

— Не могу... Единственное, что в моих силах, — вернуться к нему завтра в это же время...

Солнце покинуло комнату, перешагнуло через перила балкона и удалилось.

— Уходишь? — спросило Море.

— Ухожу, — ответило, не оборачиваясь, Солнце.

— Любовь — это лишь чувство близости, ставшее привычкой, и только! — изрек юноша и прикрыл пуп лежавшей навзничь девушки теплым белым камушком.

— Вы так думаете? — спросила девушка, не открывая глаз, и грациозным движением красивой руки сбросила камушек.

— Достаточно! Есть пять калорий! Теперь ложитесь вверх спиной! — хриплым голосом объявил репродуктор.

Девушка перевернулась.

— Это не я думаю, а так оно и есть! — Юноша дрожащей рукой погладил девушку по спине — от шеи до обворожительных округлостей.

Девушка быстро присела, из-под обведенных черной тушью ресниц метнула в юношу взгляд голубых глаз.

— Ого, какой вы быстрый!

Юноша вздрогнул, увидев ее упругую загоревшую грудь и коричневые соски.

— Я-а? — проговорил он глупо.

— Да, вы! — повторила девушка и взглянула на Солнце.

Не устояв перед соблазном, Солнце сжало горячими своими руками плечи и бедра девушки. Та вскочила — возбужденная, взбудораженная. Тогда Солнце обхватило ее грудь. Девушка задрожала.

— Пусти ее! — крикнуло Море.

Солнце улыбнулось.

— Отпусти ее ко мне! — попросило Море.

— Бери! — Солнце слегка подтолкнуло девушку. Она бросилась в море. Сотни алчных, горящих глаз провожали ее.

— Ах, вот это жизнь! — простонала, млея от удовольствия, девушка.

— Вот это жизнь! — подтвердило Солнце.

— Вот здесь, батюшка, раздевайтесь здесь! Тут народу меньше...

Милиционер опустился на песок и указательным пальцем смахнул выступивший на лбу пот. Молодой священник огляделся, снял с головы фиолетовую скуфью, бросил ее на песок, потом снял с шеи тяжелый серебряный крест, положил его рядом со скуфьей и прикрыл их белой рясой.

— Остались бы на Синопском пляже, людей там было не больше! — проговорил священник то ли обиженно, то ли с иронией.

— Море без людей в такое время не бывает! — ответил милиционер. Он начал раздеваться, в душе проклиная начальство. «Вот не было заботы, так подай! Ухаживай тут за попом!...»

Милиционер вошел в воду.

— Теплая? — спросил священник.

— Кипяток! Спускайся, батюшка! — Милиционер приготовился нырнуть.

— Слышь, поди-ка сюда, ради бога! — позвал его священник. — Убери их отсюда, неловко как-то...—

И он искоса взглянул на лежавшие рядом рясу, милицейскую фуражку и револьвер.

Милиционер нехотя вылез из воды. Подумав немного, он прикрыл фуражку брюками, а револьвер — гимнастеркой.

— Так сойдет?

— Зачем ты его тащил с собой? — спросил священник, вступая в воду.

— А что же мне делать, батюшка? У тебя крест, у меня револьвер. Мой крест — оружие!

— Крест сатаны! — перекрестился священник и быстро с головой окунулся в воду. Спустя минуту он вынырнул, шурясь от удовольствия.

— Вот это жизнь!

С золотым крестиком на груди, чернобородый, со спадающими на плечи мокрыми, длинными волосами, он напоминал сбегавшего из дому хиппи. Милиционер же — стройный, аккуратно подстриженный, свежесвыбранный — выглядел вполне rispetабельно.

— Смотри-ка, батюшка, какие девушки строят тебе глазки!

Священник обернулся. В нескольких шагах от них группа обнаженных девчат весело переговаривалась, вызывая поглядывая на молодого священника.

— За монаха, что ли, принимают меня!

Милиционер рассмеялся.

— Девки, как куропатки! Нам бы их сейчас, а, батюшка?

— Мм-м... Не отказался бы! — улыбнулся священник. «Отличный парень, сукин сын! Приспичило же дураку идти в милиционеры!» — подумал он и бросился в воду.

«Отличный парень, сукин сын! Приспичило же дураку идти в священники!» — подумал милиционер и последовал за ним.

— А семья-то у тебя есть, батюшка? Жена, дети? — спросил он, подплывая к священнику.

— Пока нет.

— Ты что, святой дух?

— Святой дух один на свете! — ответил священник и лег на спину.

— А говорили — три?! — усмехнулся милиционер.



— Как это три?! — Священник быстро перевернулся в воде.

— А так! Отец, сын и дух святой! — гордо отпарировал милиционер.

— Это так — триединое божество, трое в одном лице, парень!

— Так не бывает, батюшка!

— Бывает! Видишь солнце? Оно ведь тоже триедино: диск, нимб и свет. Понял? Три неразделимые части одного целого! Понял?

— Конечно! — улыбнулся милиционер.

Священник вылез из воды и лег на раскаленный песок.

— Как тебя звать, батюшка? — спросил вдруг милиционер.

— Нодар.— Священник взял камушек, поиграл им на ладони, потом размахнулся и бросил его в море.

Милиционер прыснул.

— Ты чего? — спросил священник.

— Я думал, ты Онуфрий, или Лука, или еще кто в таком же роде... Калистрат, что ли! А ты, оказывается, Нодар! — И он закатился смехом.

Глядя на хохочущего милиционера, священник заулыбался. Потом встал и хлопнул его по плечу:

— Ладно, одевайся!

— Побудем еще, батюшка!

— С удовольствием бы, да скоро начало конференции...— Священник стал одеваться. Из-за поворота выехала черная «Волга».— Вот видишь, уже и машина подошла!

— Еще немного, батюшка!

— Да говорю тебе, с удовольствием остался бы здесь хоть до утра, но мне выступать на конференции!.. Пошли!

Облаченный в рясу, с огромным крестом на груди, священник рядом с милиционером, уже надевшим форму, почему-то напоминал арестанта.

— Вот печет, черт бы его взял! — проворчал милиционер.

— Это ты про солнце?

— Не про луну же!

— Перекрестись сейчас же! Перекрестись и попроси у бога прощения! — приказал священник.

Милиционер удивленно взглянул на него. «За кого он меня принимает?» — подумал он, поправляя фуражку. Священник понял свою оплошность и примирительно произнес:

— Негоже роптать на светило... Ведь оно — вечный образ солнечной ночи!

— Это еще что за чертовщина — солнечная ночь? Священник обмер.

— О господи! Прости его, грешного, ибо по глупости своей не ведает слов своих!

— Нет, серьезно, батюшка, что такое солнечная ночь?

— Бог!

— Как же это — и солнце и ночь?

— Да. Есть солнце. И свет его настолько ярок, что в глазах человеческих темнеет от него. Потому — ночь.

Милиционер недоверчиво улыбнулся.

— Взгляни на солнце! — приказал священник.

Милиционер поднял голову и с минуту смотрел на сияющий диск солнца. Не выдержав, он зажмурился.

— Ну? Смотри, смотри!

— Не могу, батюшка!

— А ты заставь себя!

Милиционер повиновался. Лучи солнца раскаленными лезвиями вонзились в зрачки его глаз, но милиционер терпел.

— Ну, какого оно цвета? — спросил священник.

— Медного.

— Погляди еще!

После минуты нестерпимой боли милиционер закрыл глаза рукой. Закрыл и вскрикнул:

— Потемнело! Батюшка, солнце потемнело!

Священник молча направился к машине...

— Слышишь? — спросило Море.

— Слышу! — ответило Солнце.

— Это правда?

— Глупости! Разве Человек может постигнуть меня?

— Ты же его сотворило! — улыбнулось Море.

— Неправда! В сотворении его я не принимало никакого участия! Он существовал до моего пришествия, и не я — он сам нарек себя Человеком! Я и не ведаю, кто он, когда и откуда он появился!

— Дельфин, Дельфин! Я Чайка! Справа от вас большой косяк! — передали радиogramму с вертолета на сейнер.

— Я Дельфин! Вас понял! — ответили с сейнера. И тотчас же в воду стала опускаться огромная сеть. На лазурной морской глади запрыгали белые поплавки.

— Уходите подальше, за вами гонятся люди! — предупредило Море рыбий караван. Косяк круто изменил направление.

— Дельфин! Косяк уходит влево! Берите курс против солнца! Курс против солнца! — предупредили с вертолета рыболовы.

Сейнер развернулся, стал против солнца и полным ходом пошел наперерез отступавшему косяку.

— Опускайтесь ниже! Глубже! — звало Море, но было уже поздно. Косяк оказался в сетке.

— Поздравляем! — передали с вертолета.

— Спасибо! — ответили с сейнера.

— Конец! — испустило стон Море.

Подняли сеть, и море окрасилось кровью раздавленной собственной тяжестью рыбы. Над палубой, крича, закружились голодные чайки. К берегу заспешили любители рыбы.

Солнце золотой рукой извлекло из сети пригоршню рыбы и сверкающими серебряными монетами рассыпало ее по палубе.

— И так каждый божий день! — пожаловалось Солнце Морю, окуная в воду окровавленную руку.

— И так каждый божий день! — вздохнуло Море.

В промежутке времени с часу до четырех люди на берегу моря исчезли, словно земля их проглотила. Потом они вновь вылезли из своих нор и стали заниматься тем же, чем занимались с шести утра до часу.



Солнце возлежало на легких белых облаках и искося поглядывало на мир.

К вечеру, когда Солнце совсем уже собралось было на покой, Море тихо сказала:

— Человек, которого ты покинуло утром, умер...

— Как, кончился? Исчез? — помрачнело Солнце.

— Нет. Люди не исчезают и не кончаются.

— Что же осталось от него?

— Несчастный отец и несчастная жена.

— И больше ничего?

— Остался эскиз незаконченной фигуры. Маленький, незаконченный эскиз...

— Чья фигура?

— Не знаю. Она без головы...

— Как она выглядит?

— У фигуры стройный стан, длинные, вскинутые вверх, красивые руки. Поет она, танцует, плывет, готовится к полету или хочет кого-то обнять, не знаю... Может быть, спешит к кому-то или от кого-то бежит, не знаю...

— Что это за фигура?

— Об этом никто не знает. Свой замысел Человек унес с собой.

— Люди сами не ведают, чего хотят, — сказала Солнце.

— Не говори этого! — возразило Море.

— О чем он просил перед смертью? — спросило Солнце.

— О воздухе! — ответило Море.

— И что же?

— Дали.

— И что же?

— Не хватило!

— Не хватило воздуха? — удивилось Солнце.

— Не хватило! — вздохнуло Море.

Солнце молча скрылось за облаком.

Море слегка взволновалось.

Перед тем как отойти ко сну, Солнце еще раз взглянуло на Землю. Но оно стояло слишком низко, чтобы в толпе ожидавших заката людей различить мужчин и женщин. Люди, похожие друг на друга,

лежали на песке, и от их горячих тел поднималось легкое дрожащее марево.

Тогда Солнце протянуло длинную золотую руку, коснулось лежавшего на берегу бревна и спросило у Моря:

— Ты сейчас его вынесло, или я до сих пор не замечало его?

За последние пять лет бревно это так примелькалось Моря, что вообще уже не привлекало его внимания. Сейчас Море взглянуло на него и рассмеялось:

— Это не бревно, Солнце, это Человек!

— Спроси его, что он здесь делает?

— Не стоит... На каждый мой вопрос он отвечает просьбой... Нет предела его желаниям...

— А что он просит?

— Когда-то просил у меня хорошей погоды. Потом дров. Затем он выпрашивал рыбу, песок, соль... Просил землю... И вот уже тридцать три года он просит возвратить ему сына. Где я его возьму?!

— Раз ты отнял у Человека сына, ты же и должно вернуть его!

— Не я! Сына у него отнял другой, а взвалил вину на меня!

— Скажи ему — я желаю с ним говорить.

— Человек! — Море влажной рукой тронуло его голую ногу. — С тобой хочет говорить Солнце!

Человек промолчал.

— Ты слышишь меня, Человек? Я Солнце, и я желаю говорить с тобой!

— Говори, я слушаю тебя! — ответил Человек, искоса взглянув на Светило.

— Тебе понятен мой язык?

— Понятен язык и твой и Моря.

— Почему же ты не отвечаешь ему?

— Все, что хотелось сказать, я сказал ему в дни своей молодости... Теперь я прошу его лишь об одном — вернуть мне сына!

— Ты просишь о невозможном!

— Я не прошу милостыни, я требую своего!

— Ты горд, Человек! — сказала Солнце.

— Да! Горд и могуч! — ответил Человек.

«

— На что же ты способен?

— А ты?

— На все! Я могу осушить море, выжечь степь, превратить в пустыню лес, погасить жизнь...

— А еще? — улыбнулся Человек.

— Еще! На, гляди!

И Солнце вдруг обернулось красным обожженным горшком, потом опрокинутым кувшином, затем грибом, потом оно превратилось в зайца, потом в волка, пожиравшего того зайца; потом в слона, тигра, льва, одно мгновение Солнце красовалось в облике царской короны и наконец снова стало Солнцем.

— Я вскоре уйду, и мир поглотит тьма. Знай, Человек, тьма — это тоже я! Я это все! — сказала Солнце и устало прилегло на краю небосвода.

Человек улыбнулся.

— Чему ты улыбаешься? — спросило Солнце.

— Все — это я! — ответил он.

— Да? А чем ты это докажешь?

— Стоит мне захотеть, и ты исчезнешь, Солнце! Ты существуешь во мне. Одно мое движение, и тебя не станет. Вот! — Человек закрыл рукой глаза. — Все! Тебя уже нет!

— Ты нагл, Человек! — воскликнуло Солнце.

— Да! — согласился Человек. — Но я сказал не все. Я могу размельчить, разделить, раздробить тебя! Вот! — Человек указательными пальцами оттянул веки. И Солнце вдруг почувствовало, как в глазах Человека оно раскололось на мельчайшие сверкающие осколки. И у Солнца сперло дыхание.

— Отпусти меня, Человек! — взмолилось Солнце.

Человек отвел руки от глаз.

Солнце вздохнуло полной грудью.

— А что я тебе говорил? Вселенная — это Человек, и ты служишь ему. Ты сейчас уходишь от меня, уходишь к моему брату — Человеку, а завтра вернешься сюда, чтобы служить мне.

— А если я не вернусь? — спросило Солнце, и в голосе его не было уверенности.

— Вернешься! Ровно в шесть утра ты придешь сюда и весь день будешь служить мне!

— Ты слышишь? — обратилось оскорбленное Солнце к Морю.



— Слышит! — ответил вместо Моря Человек.

Дремавшее Море слышало все. Но ему было лень отвечать. И Море прикинулось спящим.

Солнце взбесилось. Назло Человеку оно готово было сейчас же вернуться обратно, но Время — великий, неумолимый властелин всего и вся — брало свое. Солнце уже наполовину скрылось в воде...

И тогда, спеша высказать свое, Светило воскликнуло:

— Человек! Всему на свете определено свое место! Корова знает, что она должна жить и пастись на земле; дельфину известно, что для жизни ему дано море, а для пищи — рыба; птице велено летать в воздухе и спать на деревьях, пресмыкающимся — ползать на животе и жить в норах... И лишь ты один рыщешь, бродишь, скитаешься, не находя себе места, не зная покоя! Угомонись, Человек! Живи или на суше, или в воде, или в воздухе! Что ты за существо, Человек? Откуда ты взялся?! Чего желаешь?! К чему стремишься?!

Человек не слышал этих слов Солнца, ибо оно почти уже скрылось за горизонтом.

В последний раз краешком глаза окинуло Светило опустевший берег. Рядом с Человеком стояло его маленькое подобие — Человечек.

— С кем ты разговаривал, дед? — спросил Человечек.

— Сам с собой, внучек! — ответил Человек.

— Гляди, дед! Солнце светится зеленым светом!

— «Да будут счастливы узревшие зеленый луч солнца!..» — так гласит народная молва! — сказал Человек и ласково погладил Человечка по голове.

Там, где только что скрылось Солнце, еще несколько мгновений мерцало зеленое сияние. Но, кроме ребенка, никто из людей его не заметил...

На другой день ровно в шесть часов утра Солнце взошло и золотой диадемой увенчало гору Эрцаху.



# ПОВЕСТЬ







## КУКАРАЧА

Маленький, двухэтажный, окруженный туковыми, персиковыми, вишневыми деревьями домик тети Марты стоял на краю Варазисхеви<sup>1</sup>.

С наступлением лета детвора нашего квартала, словно стая воробьев, осаждала деревья, и дворик оглашался нескончаемыми проклятиями и угрозами тети Марты:

— Сойди с дерева, чтоб тебе повылазило!

— Жри, чтоб ты подавился, зачем же ветки ломаешь?!

— Ослепни, негодяй! Зеленые ведь совсем вишни!

— Жора, неси сюда ружье с солью!

— Воришки проклятые, бродяги, жулье, мерзавцы!

— Слезайте сейчас же, пока я не позвала Кукарачу!

— Куда только смотрят ваши родители?! Или нет у вас ни отцов, ни матерей?! Господи, напусти на этих грабителей рези в животе и понос!

Тетя Марта, с кизиловым прутиком в руке, бегала от одного деревца к другому, потом, выбившись из сил, усаживалась посередине дворика и приступала к увещаниям:

— Натела, девочка, ты ведь дочь учительницы! Что же это получается: твоя мама все Ваке<sup>2</sup> обучает грамматике и «Витязю в тигровой шкуре», а род-

---

<sup>1</sup> Варазисхеви — название улицы в Тбилиси.

<sup>2</sup> Ваке — название района в Тбилиси.

ную дочь не сумела научить различать свое и чужое?!

— Ай-яй-яй-яй! Дуду — головастик! Твой папаша — инженер, полгорода отстроил, а тебя вырастил — таки разорителем чужих домов?!

— А ты чего ржешь, недоносок Гуриели! Тебе бы родиться сыном не секретаря райкома, а хашника, да мыть требуху в Вэре<sup>1</sup>. Иди сюда, негодяй, накормлю тебя мацони!<sup>2</sup> Сойди, говорю, с дерева, бездельник, упадешь, чего доброго, мне же придется отвечать за тебя!

— А-а-а, и ты здесь, Бродзели? Конечно, где же тебе быть, бандиту и мошеннику!.. Сегодня — вишни украл, завтра — квартиру чужую взломал, послезавтра — поезд ограбил, а там, глядишь, и пароход в море захватишь...

— А это кого я вижу?! Кучико?! Тебя-то как сюда занесло?! У, чтоб пропала башка твоя непутевая!

— Эй ты, Костя-грек! Вы для чего сюда пожаловали, чтобы семью мою разорять, да? Мало в Греции было вишни и туты, да?

— А ты, куда ты смотришь, Кукарача?! Языком чесать — ты мастер! Я — то, да я — се! Участковый инспектор! Гроза воров и мошенников! Воспитатель молодежи! Трепач ты, вот кто! Тоже мне нашелся воспитатель! Сам, небось, в приюте вырос! Герой!

Участковый инспектор милиции нашего района — Кукарача был человек правдивый, чуткий, отзывчивый и потому всеми любимый. Укуси кого-нибудь блоха — он тотчас шел с жалобой к Кукараче. Дела поважнее — так те и подавно не решались без участия Кукарачи.

Вернувшись с финской войны с орденом Красного Знамени на груди, Кукарача в тот же день пришел, оказывается, в райком партии и потребовал работу. «А что ты умеешь делать?» — спросил его секретарь райкома. «Умею стрелять и убивать наших вра-

---

<sup>1</sup> Вэре — название реки в Тбилиси.

<sup>2</sup> Мацони — простокваша.

гов», — ответил Кукарача. Улыбнувшись, секретарь направил его в райотдел милиции. Вот и вся известная нам биография нашего инспектора. Ходили слухи, что на фронте он дрался геройски. Более того, говорили, что орден Красного Знамени снял со своей груди сам Ворошилов и собственноручно прикрепил его к гимнастерке Кукарачи. И при этом похлопал, мол, его по плечу и сказал:

— Молодец, Кукарача, дзалиан карги бичи хар! <sup>1</sup>

— Откуда вы знаете грузинский язык, товарищ Климент Ефремович?! — удивился Кукарача.

А Ворошилов, мол, улыбнулся наивности Кукарачи и ответил:

— Иосиф Виссарионович научил.

Когда Кукарачу спрашивали — действительно ли все так было, — он дипломатично уходил от ответа, не подтверждая и не отрицая ничего.

— Да что там... А вот расскажу я вам, за что я орден получил... — и рассказывал в сотый раз.

...Случилось так, что Кукарача со своим танком провалился в противотанковый ров. Как ни старался, не сумел ни выкарабкаться из ямы, ни сообщить своим. Измученный, уставший Кукарача заснул. Вдруг слышит — возня вокруг танка, голоса. Припал к щели — вот тебе и нá! Пригнали финны два легких танка, подцепили Кукарачин танк буксирными тросами и — давай тянуть! Прикусил Кукарача язык и молчит. Вытащили финны танк из рва и повезли к своим позициям. «Э, нет, — подумал Кукарача, — так дело не пойдет!.. Эдак, гляди, и в плену очутиться недолго!..» Завел он свою машину, развернулся круто, газанул сильно... и пока финны очухались, поволок их легкие танки за собой... Так и добрался благополучно до своих. Правда, финны повыскакивали из своих танков и убежали, да бог с ними! Два неприятельских танка в целости-сохранности достались Кукараче.

Здесь Кукарача обрывал свой рассказ. Содержание разговора с Климентом Ворошиловым так и оставалось в тайне.

---

<sup>1</sup> Ты очень хороший парень (груз.).



Продавцы мацони, с рассветом спускавшиеся в Тбилиси из Цхнети<sup>1</sup>, оставляли своих ослов во дворе тети Марты, а сами, взвалив на плечи хурджины<sup>2</sup> с банками мацони, растекались по городу, оглашая улицы и дворы зычным «Мацо-о-о-ни, мала-а-ко!».

После полудня, распродав свой товар, они вновь собирались во дворе, усаживались вокруг длинного деревянного стола и не спеша распивали по бутылке кахетинского, а между заздравными тостами делились друг с другом услышанными за день новостями и сплетнями.

Мы называли двор тети Марты «ослиным гаражом».

Бывало, цхнетские мацонщики здесь устраивали скачки своих длинноухих скакунов. Старт — у ворот двора, финиш — у задней ограды, расстояние — 25—30 метров. Жокеями нанимали нас, детей. Победитель получал банку мацони, побежденные осыпались насмешками и подзатыльниками.

Каждый осел, естественно, имел свое собственное имя, но мы называли их по имени хозяев.

...В тот день подвыпившие мацонщики тоже решили позабавиться скачками. Была установлена ставка — пять рублей.

Я восседал на Китесе, Натела — на Аршаке, Дуду — на Шакро, Ирача — на Имедо, Костя-грек — на Халвате. Были и другие ослы, но они в первом туре не участвовали — количество состязавшихся ограничивалось шириной беговой дорожки. В роли судей выступали тетя Марта и хозяева ослов, не принимавших участия в скачках.

Тетя Марта сосчитала до трех, и скачки начались. Смешно шевеля ушами и цокая копытами, ослы двинулись к финишу. Хозяева, войдя в азарт, громкими возгласами подбадривали нас и ослов.

— Давай, жми, даром, что ли, я кормлю тебя ячменем?!

— Слышь, бичо<sup>3</sup>, садись ему на круп, быстрее побежит!

---

<sup>1</sup> Цхнети — название села в пригороде Тбилиси.

<sup>2</sup> Хурджин — переметная сума.

<sup>3</sup> Бичо — обращение: мальчик, малый.

— Гляди-ка! Вот и впрямь осел! Стал и не двигается! Пришпорь, пришпорь его!

— Вот молодчина! Ай да девка! Вот дает жару! Молодец!

— Эх вы, бедолаги! Обскакала вас девчонка!

Нателе досталась банка мацони, Аршаку — пять рублей, мне — подзатыльник... Только приготовились ко второму туру, как во двор ворвался бледный, как полотно, наш приятель Зевера, замахал руками и испустил душераздирающий вопль:

— Кукарачу убили!

От наступившей вдруг во дворе необычной тишины вздрогнули даже воробьи на деревьях.

Зевера повторил уже спокойнее:

— Люди, Кукарачу убили... — и облизал пересохшие губы.

— Кто? — спросила после долгого молчания тетя Марта.

— Не знаю, — пожал плечами Зевера.

— Где? — спросила опять тетя Марта.

— На Кобулетском подъеме, — показал рукой Зевера.

— В доме Инги?!

Зевера кивнул головой. Тетя Марта сняла с головы шаль и вышла со двора.

Спустя десять минут весь наш квартал собрался у дома Инги.

Санитары и двое милиционеров вынесли на носилках Кукарачу. Он был без сознания. Из простреленной в двух местах груди Кукарачи еще сочилась кровь. Рядом с носилками шла Инга — с перекошенным лицом, исцарапанными щеками. Она то и дело нагибалась к носилкам, с расширенными от ужаса глазами всматривалась в пропитанную кровью марлевую повязку и шептала:

— Не умирай, Кукарача, не губи меня... Заклинаю тебя матерью, Кукарача, не умирай... Кто поверит, что я не виновата... Кукарача, дорогой мой, не умирай, прошу тебя...

Перед тем, как уложить носилки в машину скорой помощи, Кукарача очнулся.

— Кукарача, дорогой, не умирай...— Инга опустилась на колени перед носилками.

Кукарача обвел собравшихся вокруг него людей туманным взглядом.

— Не умирай, не умирай, Кукарача, прошу тебя...— повторяла Инга.— Погибну я, Кукарача, не поверят мне...

— Молчи...— прошептал Кукарача,— уходи отсюда... Тебя здесь не было... Слышишь? Уходи...

— Кукарача!..— Инга припала губами к руке Кукарача.— Дорогой мой...

Кукарача уже не слушал ее, он глазами искал кого-то и, наконец, нашел его:

— Давид!

Из толпы вышел начальник районного отдела милиции.

— Давид, ты знаешь, эта женщина — моя жена... И она чиста, как слеза на ее щеке... Знаешь ведь?

Давид кивнул головой. Запекшиеся губы Кукарача тронула спокойная улыбка.

— Инга,— проговорил он,— кругом туман... розовый туман... Я не вижу тебя... Ух, Муртало, подло ты пришил меня, сволочь грязная...— Кукарача с сожалением покачал головой, потом поднял глаза на Ингу и протянул руку к ее лицу. Рука на миг застыла в воздухе и упала, словно отрубленная.

Без единого стоа, без единого слова,— с улыбкой на лице, красиво умер Кукарача — лейтенант милиции Георгий Тушурашвили...

Первым нашим гостем на новой квартире (мы переехали с Анастасьевской на улицу имени академика Марра) был высокий, смуглый, красивый лейтенант милиции. Как только мама открыла дверь, он без приглашения вошел, направился прямо на кухню и уселся на табуретку.

— Кто вы и что вам нужно? — спросила оторопевшая от наглости незнакомца мать.

— Я, уважаемая...— Лейтенант запнулся.

— Анико! — резко подсказала мама.

— Я, уважаемая Анико, есть участковый инспектор Орджоникидзевого райотдела милиции города



Тбилиси Народного Комиссариата внутренних дел Грузинской ССР Георгий Тушурашвили, по прозвищу Кукарача! — выпалил лейтенант без передышки.

— Удачное прозвище, — рассмеялась мама.

— Да... Смуглостью бог меня не обидел.

— Точно.

— Можете так и называть меня — Кукарача!

— И вы пожаловали к нам за тем, чтобы сообщить об этом?

— Нет, конечно! Я беру на учет всех подростков, поселившихся в нашем районе, так как мне поручено следить за их жизнью и поведением вне школы и семьи. — Кукарача извлек из планшета общую тетрадь и карандаш.

— Уважаемый... э-э-э... Кукарача, вы, случайно, не ошиблись адресом? — спросила мама.

Не поняв иронии, лейтенант ответил серьезно:

— Нет, что вы! Улица Марра, дом № 2, первый подъезд, четвертый этаж, квартира № 8, Владимир Иванович Гуриели. Или я ошибаюсь?

— И даже очень! Мой супруг — первый секретарь райкома партии, ничего общего с милицией у нашей семьи нет и быть не может, я сама пока еще жива, и в ничьей помощи в воспитании своего сына не нуждаюсь!.. — Лицо у мамы покрылось красными пятнами. — И вам бы посоветовала — чем ходить по порядочным семьям, занялись бы лучше хулиганами и ворами. Да!

— Не скажите, уважаемая Анико! — ответил спокойно Кукарача и закрыл тетрадь.

— Я знаю, что говорю! Моему мальчику еще нет двенадцати! О каком милицейском учете идет речь?

— Не скажите, уважаемая Анико! — повторил лейтенант.

— Да что вы зарядили — «не скажите», «не скажите»! Попрошу вас больше подобными делами не утруждать себя! — Мама встала. Встал и лейтенант.

— Дай бог, чтобы вам никогда не пришлось обращаться ко мне... А так, скажу вам откровенно, в возрасте вашего сына я и покуривал втихомолку, и в картишки был не прочь перекинуться с ребятами на-

шего квартала, и даже татуировкой руку мне разукрасили. Вот! — Кукарача засучил рукав.

— Не беспокойтесь! Оно и видно по всему! — отбрила его мама.

— Зачем же вы так, уважаемая Анико? Я пришел к вам не ссориться...

— Вот и отлично. Прощайте! — сказала мама.

— До свиданья! — Кукарача направился к двери. Я стоял в коридоре и слышал весь их разговор. Такой сердитой и грубой я маму не видел никогда. Проходя мимо, Кукарача остановился и погладил меня по щеке.

— Как тебя звать?

— Тамаз! — огрызнулся я и резко отодвинулся.

— Спасибо, что не отгрыз мне руку! — сказал с улыбкой Кукарача и вышел, прикрыв за собой дверь.

— Хам! — послала ему вдогонку мама.

Описанный ниже случай произошел спустя месяц после появления Кукарачи в нашем доме.

По Варазисхеви мы спустились к речке Вэре, перелезли через ограду зоопарка и очутились под огромным ореховым деревом.

— Давайте! — приказал шепотом Кучико, подставляя спину. — По одной пазухе!

Я взобрался к нему на спину, ухватился за нижнюю ветку, повис в воздухе, потом подтянулся на руках, вскарабкался на ветку и осторожно полез вверх. За мной последовали Дуду, Костя-грек, Ирача и, наконец, сам Кучико.

Работали быстро, молча. Спустя пятнадцать минут наши пазухи были полны молодыми орехами.

— Хватит! Вниз! — распорядился Кучико.

Мы спустились с дерева, с трудом преодолели ограду и гуськом потянулись вверх по течению Вэре.

— Стой! Здесь! — раздалась команда Кучико.

Мы остановились у небольшой запруды.

— Высыпайте!

Все опорожнили пазухи. На земле выросла горка зеленых орехов.

— Начали!

Мы вооружились каждый двумя голышами и стали изо всех сил давить и расплющивать орехи. Летели брызги орехового сока. Вскоре наши руки и лица покрылись черными пятнами.

— Хватит! Давайте орехи в воду! — приказал Кучико.

Мы собрали кашеобразную ореховую массу, сбросили ее в запруду и застыли в томительном ожидании.

Прошла минута... Другая... Пятая... И вот на поверхность воды всплыла брюшком вверх первая отравленная рыба. Затем еще и еще. Спустя несколько минут вся запруда белела рыбьими брюшками. Эффект был неожиданным. Забыв про осторожность, мы бросились в воду и, визжа и хохоча, стали вылавливать полуживую рыбу.

— Держи, держи!

— Эта — моя!

— За пазуху ее!

— Вот молодец, Кучико!

— Кто тебя научил?

— Сам придумал!

— Зверь!

С полчаса продолжались наши дикие крики. Наконец вся рыба была выловлена, и мы, уставшие и промокшие с ног до головы, повалились на берегу. Потом Кучико разделил рыбу поровну и предупредил: если кто спросит — откуда, мол, рыба? — отвечать: поймали на удочку!

Гордые и довольные, мы разошлись по домам.

Увидев меня — с черными пятнами на лице и руках, мокрого и грязного, с рыбой за пазухой, — мать оторопела.

— Что... что это такое?.. На кого ты похож?.. Откуда рыба?..

— Удили в реке... Это все мой улов!

Мать хотела выбросить рыбу, но потом вняла моим мольбам, почистила ее, вываляла в муке, поджарила на подсолнечном масле, попробовала сама и, проговорив удивленно: «Смотри ты! Вкусно!» — поставила тарелку передо мной.

— Ешь!



Я доедал последнюю рыбешку, когда раздался звонок. Мама открыла дверь. Широко улыбаясь, в комнату вошел Кукарача с бамбуковой удочкой в руке.

— Здравствуйте, уважаемая Анико! Можно к вам? — спросил он почтительно.

— Пожалуйста! — ответила мама — на сей раз довольно мирно — и села у круглого столика.

Кукарача прислонил удочку к стенке, достал из планшета небольшую книжку в красном переплете и уселся напротив мамы.

— Чем могу служить, уважаемый Кукарача? И что это за бамбук? — спросила мама.

— Сейчас все объясню... Бамбук этот — обыкновенная удочка, а вот эта книжка — Уголовный кодекс.

— Да, но что... какая связь между моим домом и этими предметами?

— С помощью удочки, как известно, ловят рыбу, а с помощью Уголовного кодекса — человека...

— Слушайте, лейтенант, перестаньте, пожалуйста, говорить загадками!.. Скажите прямо — что вам нужно? — В голосе мамы чувствовалось раздражение. Но Кукарача невозмутимо продолжал листать книжку. Найдя нужное место, он взглянул на маму:

— Вот, извольте, послушаем, что написано в этой благословенной книге... Садитесь, пожалуйста, молодой человек! — обратился он вдруг ко мне. Неприятное предчувствие вкралось в мое сердце, но я все же сел. А Кукарача продолжал:

— Обумышленном уничтожении государственного имущества, выразившемся в варварском истреблении незрелых зеленых орехов, я пока умолчу. Начнем с менее тяжких преступлений... Так... Статья 175... «Незаконное занятие рыбным и другими добывающими промыслами». Так... Так... Вот! «С применением взрывчатых или отравляющих веществ... Наказывается лишением свободы сроком до четырех лет»...

Кукарача закрыл книгу и посмотрел на меня.

Я понял все и покрылся холодной испариной. Вот, оказывается, почему Кучико предупреждал нас — держать язык за зубами. Я-то, дурак, думал — из-за

рыбки! Пропади она пропадом, рыбка,— кому она нужна, мелюзга паршивая! Главное, оказывается, в том,— как ее поймашь, рыбку-то! «Отравляющие вещества»...

Я взглянул на маму. Она сидела бледная, как мел, и не сводила с меня глаз. Я не выдержал и опустил голову.

— Ну, так что мне прикажете делать? — заговорил Кукарача.— Конфисковать рыбу не удастся,— это видно по губам преступника...

Мама быстро встала, схватила тарелку, на которой лежала одна-единственная уцелевшая рыбешка, и поставила ее перед Кукарачей.

— Вот, пожалуйста! Надеюсь, до конфискации мебели и пианино дело не дойдет... Что касается орехов,— возьму вам очищенными... Вообще-то не думала я, что в Советском Союзе лов таких головастиков карается по закону!

— Ни в коем случае, уважаемая Анико! Карается лов рыбы с применением взрывчатых или отравляющих веществ! А ежели удочкой — пожалуйста, ловите себе на здоровье!

— Чем же вы ловили? — спросила меня мама. Я промолчал.

— Они истребили рыбу с помощью раздавленных зеленых орехов.

Мама подошла ко мне, взяла за подбородок.

— Это правда?

Я кивнул. Она схватила меня за ухо и вывернула его так, что мне захотелось взвыть, но я постеснялся Кукарачи и молча перенес наказание.

— Конечно, правда! — подтвердил Кукарача.— Я же все видел собственными глазами!

— Что же это вы! — обиделась мама.— Видели да молчали? И теперь пожаловали сюда читать нам мораль?

— Клянусь вам, Анна Ивановна, мне впервые довелось увидеть такое — глушить рыбу зелеными орехами! Засмотрелся я! А потом было уже поздно... Но что совсем уже плохо — ниже по течению погибла уйма мальков! Так что во всей этой истории я вино-

вен не меньше вашего сына. Тяните меня за ухо! — И он подставил маме голову.

— Чудак! — улыбнулась мама и вышла на кухню.

— Ну, ты понял все? — обратился Кукарача ко мне. — Я принес тебе удочку. В следующий раз, когда соберетесь на рыбалку, возьмите меня с собой. А хочешь, сходим мы с тобой, вдвоем. Червяков найдем там же, под оградой зоопарка — там их полно, в навозе зебр. Вообще-то эта рыба клюет больше на муху. Вот так!.. — Он встал, спрятал книжку и позвал маму:

— Анна Ивановна, конфисковывать оставшуюся рыбу не стоит, лучше уж я съем ее! А если к тому же угостите меня стаканчиком вина, будет еще лучше. Все равно, я уже сам прохожу по этому делу в качестве соучастника!

Мама тотчас же вынесла бутылку с вином, стакан и пригласила Кукарачу к столу. Сама уселась перед ним и оперлась подбородком на сложенные руки.

— А хлеба?

— Спасибо, не нужно... — Кукарача взял рыбку за хвост и отправил ее целиком в рот. — Замечательная рыба! — Потом он налил себе в стакан вина, отпил, зажмурился от удовольствия, встал и произнес тост, который я запомнил на всю жизнь:

— Дорогая Анна Ивановна, когда вы вошли с вином и улыбнулись, вы так были похожи на мою маму... Спасибо вам за то, что вы напомнили мою мать!..

— Сколько тебе лет, Кукарача? — спросила мама.

— Двадцать два!

— Значит, я старше тебя всего на восемь лет, чудак ты этакий! — сказала мама и провела рукой по своим седым волосам.

— Извините меня... — смутился Кукарача и поцеловал маме руку. Мать вспыхнула и, неловко улыбувшись, вышла из комнаты.

Растерянный Кукарача с минуту постоял, потом повернулся и быстро ушел.

Кукарачу вызвал начальник милиции. Спустя пять минут лейтенант сидел за приставным столом в кабинете Давида Сабашвили.



— Ну, пришел я. В чем дело?

— Слушай, когда ты научишься порядку? Что за «ну, пришел»?! Как положено рапортовать начальству? «Товарищ майор! Лейтенант Тушурашвили по вашему приказанию явился!» Понял? — сказал Давид недовольно и отложил папку в сторону.

Кукарача вскочил, вытянулся, приложил руку к виску и начал:

— Товарищ майор...

— Да ладно уж, сиди!

Лейтенант сел.

— Странный ты человек, — проговорил он обиженно, — при посторонних я тебя чуть ли не генералом величаю... Хотя наедине-то могу поговорить с тобой по-человечески, как друг с другом?

— Дружба — дружбой... Дома, на улице, в ресторане... Пожалуйста... А здесь, брат, служба!.. И так что ни день, то анонимка на меня в наркомате — Сабашвили-де окружает себя дружками да товарищами...

Давид закурил, протянул папиросу Кукараче.

— Не курю!

— С каких это пор?

— Со вчерашнего дня...

— Хочешь умереть здоровым? — улыбнулся Давид и погасил в пепельнице зажженную только что папироску.

— Кто же на тебя жалуется?

— Да сволочь всякая, кому не лень и кто писать умеет!

— А ты бы сказал им: «Что же вы, сволочи, хотите, чтобы я привел в милицию да еще вооружил незнакомых, чужих людей?!»

— Легко тебе говорить, — махнул рукой Сабашвили, — ни забот, ни ума... На вот, прочти... Коллективное заявление... Проверь... Вызови девчонку... Поговори с ней...

Кукарача взял заявление.

«Начальнику Орджоникидзевской раймилиции г. Тбилиси т. Д. Сабашвили.

Жильцов дома № 137 по Кобулетскому подъему. Коллективное заявление.

Сообщаем, что наша соседка Инга Лалиашвили ведет распутный образ жизни. Курит. Из ее комнаты в два-три-четыре часа ночи доносятся звон стаканов, похабные слова и песни. Она состоит в интимной связи с неоднократно судившимся неким Муртало (подлинные фамилия и имя неизвестны). Нам, конечно, неудобно, но интересы дела вынуждают повторить похабные слова и песни, которые мы слышим из этого гнезда разврата.

Слова: проститутка, падла, атанда, барыга, сука, шмон, хаза, мусор, дура (в смысле огнестрельного оружия) и т. д.

Песни: Гоп, стоп, Зоя...

Судья — сволочь, аферист,  
Чтоб ты подавился!  
За что срок мне припаял?  
В чем я провинился?

и т. д.

Просим вас, пощадите если уж не нас, хотя бы наше будущее (в смысле детей), спасите от разврата и разложения».

Под заявлением стояло восемь подписей — одна из них красным карандашом. «Он и писал!» — подумал Кукарача и рассмеялся.

— Чего ржешь?

— Да так...

— Не вижу ничего смешного! Эта самая Инга — мне известна. Путается она с одним подонком. Ты знаешь его — Муртало<sup>1</sup>. Да вот никак не удастся взять его с поличным, хитер, мерзавец...

— Разрешите идти, товарищ майор! — встал Кукарача.

— Иди... Ты тоже фрукт порядочный... — буркнул Сабашвили и уткнулся в бумаги.

Инга дежурила. Около двенадцати часов ночи в аптеку вошел среднего роста, ладно скроенный молодой мужчина с желтовато-землистым цветом и наглым, насмешливым выражением лица.

<sup>1</sup> Муртало — воровская кличка. Дословно: подонок, грязный человек.

При первом же взгляде Инга прониклась антипатией к незнакомцу, однако, ничем не выдавая своего чувства, продолжала раскладывать пузырьки с лекарствами.

— Здравствуйте, девушка! — сказал незнакомец и оперся локтем на полочку перед окошком выдачи готовых лекарств.

— Здравствуйте! — ответила Инга, не поднимая головы.

— Можно вас на минутку? — улыбнулся посетитель.

— Слушаю! — Инга подошла к окошку.

— Ты одна?

— Нет. Заведующий здесь. И главный провизор, — солгала Инга.

— Позови обоих! — это было сказано тоном приказа.

— Если вы желаете готовое лекарство, я его отпущу сама, а если у вас рецепт, — оставьте, пожалуйста.

— Делай, что тебе говорят!

У Инги екнуло сердце. «И откуда его принесло на мою голову! — подумала она. — Хоть бы зашел кто-нибудь! То отбоя нет от посетителей, а то никого».

Она посмотрела на дверь. Незнакомец проследил ее взгляд, подошел к двери и перевернул висевшую на ней белую картонную табличку.

— Вот так. «Аптека закрыта»! Шабаш! А теперь ступай за заведующим и провизором!

Инга направилась к кабинету. Незнакомец последовал за ней.

— Куда вы идете?

— Провожу тебя!

Они вошли в кабинет. Комната была пуста.

— Ну? Где же они? — спросил незнакомец, прищурив глаза.

— Ушли... Я и не заметила... — проговорила Инга дрогнувшим голосом и опустилась в кресло.

— Вот и отлично! Теперь ты — полная хозяйка.

— Что вам нужно? Скажите, наконец! — Лоб Инги покрылся холодной испариной.



— Морфий! — отрубил незнакомец.

— Что вы? Откуда у меня морфий? Он в сейфе... Без заведующего... Зайдите завтра...— Инга с трудом ворочала пересохшим языком.

— Для морфия нет «завтра»! Или сейчас же или...— Инга перехватила мутный взгляд незнакомца и поняла, что перед ней — убийца.— Я позвоню... Спрошу...— Она дрожащей рукой подняла телефонную трубку.

Незнакомец сделал шаг вперед и извлек из кармана нож. Раздался щелчок, и из рукоятки ножа, словно змея, выскользнуло обоюдоострое лезвие. Вне себя от страха Инга хотела крикнуть, но не успела и пикнуть — незнакомец крепко зажал ей рот ладонью.

— Молчать! И не бойся! — Он одним взмахом ножа обрезал телефонный шнур.

— Ну? Где морфий?! Поторопись, девушка!

Словно во сне Инга подошла к стоявшему в глубине кабинета столу, открыла ящик, достала две ампулы с морфием и протянула их незнакомцу. Тот опустился в кресло, извлек из кармана коробку с двухграммовым шприцем, ловким движением отбил головки у ампул, наполнил шприц морфием, потом закатал рукав на левой руке и мастерски ввел иглу в вздувшуюся вену... Затем аккуратно уложил шприц в коробку, спрятал в карман, откинул голову назад и затих...

Расширенными от ужаса глазами взирала девушка на эту страшную процедуру. Несколько минут длилось в комнате молчание. Незнакомец не двигался. Вдруг он заерзал в кресле, открыл глаза и прошептал:

— Пришло...

Инга невольно взглянула на дверь, но там не было никого.

— Наконец-то... Пришло...— повторил незнакомец, и тут только Инга увидела в его глазах странную отведенность, покой и наслаждение.

— Не желаете ли попробовать? — обратился незнакомец к Инге.

Она не ответила. Оглушенная, ошарашенная всем происшедшим, наблюдала девушка изумительную метаморфозу человека. А умиротворенный незнакомец продолжал:

— Вы не знаете, не представляете себе, что это такое... Хотите, прочитаю вам Гумилева? Или Есенина? Может, предпочитаете Галактиона? А вы испугались... Стоило ли нервничать из-за такого пустяка?..

Он медленно встал с кресла, достал из внутреннего кармана пачку тридцатирублевых, положил перед Ингой и направился к двери.

— Операция «Морфий» окончена. Можете спать спокойно. А меня вы не принимайте за морфиниста. Был морфинистом когда-то, признаюсь. Но потом покончил с этим. Теперь — так, изредка... Находит иногда такая дурь... Между прочим, я знаю вас. Зовут вас Инга, живете по Кобулетскому подъему, номер 137... Так вот, знайте, Инга: с сегодняшнего дня каждый ваш обидчик станет моим обидчиком, а мои обидчики.... Они лежат на кладбище...— Он обернулся и пристально всмотрелся в Ингу.— Не двигайтесь. Вам бы в руки младенца, и были бы вы настоящей богоматерью...— И он покинул аптеку.

В любви Инге Муртало не объяснялся. Круглый год — зимой и летом — каждое утро курдский парень Маратик приносил Инге от имени Муртало корзину живых красных роз. В конце каждого месяца неизвестный безбородый, безусый мужчина приносил ей тысячу рублей.

— Калбатано<sup>1</sup>, Муртало шлет вам свой долг и извиняется за опоздание!

И, не дав Инге опомниться, таинственный посланец исчезал, как привидение.

Потом Инга стала замечать, что ребята квартала — постоянные ее поклонники — при встрече с ней улыбаются какой-то неестественной, неловкой улыбкой и проявляют к ней преувеличенное уважение.

---

<sup>1</sup> Калбатано — форма вежливого обращения к женщине. Дословно: сударыня, госпожа.

Инга стала неприкосновенной королевой квартала. А Муртало не показывался.

Вместе с необъяснимым страхом Ингой овладело чувство подсознательной силы, гордости и тягостного ожидания. Оно росло с каждым днем, и чтобы избавиться от этого мучительного состояния, покончить с этой гнетущей неопределенностью, девушка сама стала искать встречи с Муртало.

Она начала с того, что отправилась к известной в квартале барыге Анжелике и рассказала ей все.

Пятидесятилетняя женщина с морщинистой шеей и высохшей, дряблой грудью выслушала девушку, выкурив подряд несколько папирос, долго кашляла, отдышавшись, подняла на нее полные слез глаза и спросила:

— А куда ты те деньги дела?

— Так они и лежат. Копейка в копейку.

— Двенадцать тысяч — большие деньги...

— Как же мне быть?

— Надо истратить их!

— Я не об этом!

— О чем же?

— Что мне делать дальше? Как поступить?

— А-а-а... Скажу тебе прямо: в нехорошее ты впуталась дело...

— Так посоветуй — как быть?

— Почем я знаю?! Ты — девка красивая, ядреная... Но высушит он тебя... И пока он жив, не даст никому насладиться твоим ароматом...

— Как же так? Есть ведь на свете закон, милиция, люди... Тюрьма, наконец?!

— Что — тюрьма... Тюрьма для него — что дом родной, а всего остального для таких, как он, не существует!

— И это твой ответ?

— Да.

— Значит, нет мне спасения?

— Нет, пока он сам не отстанет от тебя.

— Когда же это будет?

— Когда станешь пугалом вроде меня.

— Неужели нет иного выхода?

— Есть!



- Какой же?
- Должен умереть!
- Кто?!
- Один из вас двоих. Вот лучший выход!
- А если... Если устроить так... чтобы его... арестовали? — спросила осторожно Инга.
- На каком основании? Он в чем-нибудь провинился перед тобой?
- Н...н... нет.
- Так за что же его арестуют? За то, что он любит тебя? Если б людей сажали за любовь, сейчас половина человечества сидела бы в тюрьмах...
- Тогда устрой мне встречу с ним!
- Он сам придет к тебе.
- Я не могу ждать!
- В таком случае ступай в Нахаловку<sup>1</sup>, найди там Колу. — Анжелика встала, дав почувствовать Инге, что аудиенция окончена...
- ...Разговор с нахаловским Колой оказался весьма коротким и лаконичным.
- Муртало? Да что вы, калбатано, Муртало очень даже прогрессивный и благородный молодой человек!
- Вы не поняли меня. Где мне найти его?
- Чего не знаю — того не знаю... — развел руками Кола. — Адрес его — весь Советский Союз!
- Прощайте! — Инга встала.
- Дай бог вам здоровья!

Новый год Инга встречала в компании сослуживцев. Выпила несколько бокалов шампанского, много пела, много танцевала, много смеялась. К часам трех ночи в отличном настроении вернулась домой, вприпрыжку поднялась по пяти ступеням своей лестницы, открыла дверь в комнату, скинула пальто, зажгла свет и... обомлела. За столом, уставленным разной снедью и бутылками шампанского, сидел Муртало. При появлении Инги он не встал, не поздоровался с ней, — молча курил и улыбался.

<sup>1</sup> На х а л о в к а — старое название района в Тбилиси.

Инга постепенно успокоилась. Первый страх уступил место чувству облегчения, граничащего с радостью. Человек, которого она разыскивала в течение всего года, сейчас сидел перед ней и взирал на нее покорными глазами.

— Появился, наконец? — спросила Инга, присела на край тахты и сложила руки на коленях. Руки у девушки дрожали, и она прикрыла их подушкой.

Муртало молчал.

— Пришел? — повторила Инга вопрос. В голосе ее не было ни страха, ни неприязни, — одно лишь любопытство.

Муртало кивнул. Потом он ловко, без хлопка откупорил бутылку, разлил шампанское в бокалы, дождал, пока осядет пена, поднял бокал и обратился к Инге:

— С Новым годом, королева Грузии! Пусть хранит тебя святая дева Мария!

— Скажи-ка, как ты вошел в запертую комнату?!

Муртало взял второй бокал и, обойдя стол, подал его Инге. Девушка не взяла его, — она не хотела, чтобы Муртало увидел ее дрожащие руки. Тогда он поставил бокал перед ней и вернулся к столу.

— Как ты сюда вошел? — переспросила Инга.

— Ты забыла запереть дверь, — улыбнулся Муртало.

— Ничего подобного! Дверь была заперта! Я сама сейчас отперла ее!

— Ну, я не знаю... Я пришел, сказал — «Сим-сим, откройся!» И дверь открылась. Ей-богу! — Ответ Муртало прозвучал искренне, словно так оно и было в действительности.

— Теперь повтори те же слова и уходи!

Муртало промолчал.

— Что тебе нужно от меня? — спросила Инга.

— Ничего! — ответил Муртало спокойно.

— Ничего! Это мне нравится! Человеку, даже имени и фамилии которого я не знаю, который каждый день присылает мне корзину роз и каждый месяц тысячу рублей, человеку, который отвалил от меня всех моих знакомых мужчин, поставил под сомнение мою

честь,— этому человеку ничего от меня не нужно!..  
Говори, кто ты, какая у тебя цель?!

— Я ничего у тебя не просил,— сказал Муртало тихо.

— Я — тем более!

Инга встала, подошла к шкафу, выдвинула ящик, достала кипу денег и бросила их на стол перед Муртало. Тот даже не взглянул на деньги.

— Верни мне розы, если можешь,— сказал он после долгого молчания.

— Как? — удивилась Инга.

— Как хочешь!

— Изволь! Завтра же!

— Триста шестьдесят пять корзин! Только красных роз, ни одной белой! — сказал Муртало и опорожнил бокал.

— Я их не просила... Розы увяли. Нет их. А деньги — вот они! Все двенадцать тысяч! Я их не трогала. На, бери!

— Деньги — мёртвая бумага... Розы были живые...

— Я твоих намеков не понимаю! Забирай свои деньги и уходи!

— Выпей за мое здоровье, и я уйду!

— Говорят, что ты — вор, убийца, морфинист и вообще подлец!

— Говорят,— согласился Муртало.

— Кто же ты?

— Вольный человек, делаю что хочу, как хочу и когда хочу.

— Сколько тебе лет?

— Тридцать.

— Почему все боятся тебя?

— Потому, что я не боюсь никого.

— Как бы ты поступил, если бы я отказала тебе тогда... В аптеке? — спросила Инга.

— Убил бы тебя! — ответил Муртало, не поднимая головы.

— А теперь?

— Теперь, если ты прогонишь меня, я убью себя...

— А меня?

— Тебя — нет.

— Врешь!



Муртало достал из кармана наган, положил на стол. Ингу пробрал мороз по коже.

— Угрожаешь?

— Нет, клянусь тобой!

— Врешь! — повторила Инга, подходя вплотную к Мурталу.

— Хочешь — ты убей меня!

— Знаешь, что я не в состоянии сделать это, потому и петушишься!

— Попробуй! За мое убийство ничего тебе не будет. Могут даже наградить!

— Много ты воображаешь о себе!

— Наоборот!

— Ладно! Уходи! Хватит тебе паясничать!

— Скорее умру, чем покину тебя!

Муртало снова наполнил свой бокал.

— Закричу! — пригрозила Инга, хотя отлично сознавала, что не вымолвит ни слова. — Закричу, прибегут соседи!

— Сколько их у тебя?

— Двадцать! — солгала девушка.

— Значит, вынесут отсюда двадцать трупов! — Муртало отпил глоток шампанского.

— Сколько же на твоём счету убитых? — голос у Инги дрогнул.

— Не считал. Столько, сколько их заслужило смерти...

— Не по нутру мне твоя воровская философия. Говорю тебе, уходи отсюда!

— Не старайся, Инга... Я ведь не в карты тебя выиграл... Ты для меня — божий дар!

— Завтра же заявлю в милицию!

— Вот напугала! — рассмеялся Муртало.

— Неужели ты действительно ничего не боишься?

— Боялся одного: уйти из жизни без любви... Теперь я этого не боюсь... Теперь я счастливейший человек, и мне уже безразлично, когда умереть — что сегодня, что завтра..

Не успел Муртало договорить, как Инга размахнулась и закатила ему звонкую пощечину.

— Нахал ты! Мерзавец! Убирайся вон сейчас же! Не позорь меня! Кругом люди живут!

Муртало не сдвинулся с места, только побледнел.

— Люди? Люди — толпа. Завтра они будут валяться у тебя в ногах, объявят тебя, как Марию-Магдалину, святой...

Доведенная до бешенства Инга ударила Муртало кулаком в лицо. Ударила сильно. Хлынувшая из носа Муртало кровь залила скатерть. При виде крови девушка вздрогнула. Она инстинктивно бросилась на кухню, смочила полотенце водой, вернулась в комнату. Муртало по-прежнему сидел за столом, и кровь по-прежнему капала на скатерть. Инга приложила полотенце к его лицу. Губы Муртало прижались к руке девушки, и, к своему удивлению, она не отняла руку.

До рассвета горел свет в комнате Инги. Утром, когда прикурнувшая на тахте в праздничном платье девушка проснулась, комната была пуста. И ничего, кроме пятна на скатерти, не напоминало о страшном и странном ночном госте...

Две подвальные комнаты в доме тети Марты занимал Моисей Шаптошвили. Здесь жила его семья — жена Ревекка и четырнадцатилетний сын — рыжий, веснушчатый Исхаак. Здесь же была оборудована красильня.

Расчеты с заказчиками вел Моисей, производственная же деятельность красильни целиком и полностью направлялась Ревеккой и Исхааком.

Работа в красильне кипела вовсю. Дела шли отлично. И все были довольны. Когда по утрам Ревекка развешивала на солнце ночную продукцию и когда разноцветные сорочки, платки, косынки, фартуки, чулки, носки, детские платьица, полотенца и другие предметы домашнего обихода начинали развеиваться и хлопать на ветру, дворик тети Марты напоминал празднично убранный небольшой парусник, бегущий по морским волнам. Владелец, капитаном и рулевым этого парусника был Моисей Шаптошвили. Служили на паруснике и матросы. И капитан аккуратно платил им... конфетами. А платил за то, чтобы они не выводили на пестрых парусах разные непристойные

слова и рисунки. Вы, конечно, догадались, что этими матросами были мы — дети квартала...

Да, казалось, жизнь Моисея Шаптошвили течет как по маслу, и производство его работает как часы. Но в то лето, когда Исхаак, трижды подряд просидевший в четвертом классе, наконец-то перешагнул в пятый, в ходе этих часов произошел перебой и в их мелодичный бой вкрались тревожные звуки.

Какой-то грешник (или грешница) сообщил по секрету Ревекке, что муж ее, Моисей, давно уже крутит шашни с некой Ангелиной из Сванетского квартала<sup>1</sup>, что половину своих доходов он несет к ней, и что в то время, как она, Ревекка, ходит в перелицованном драповом пальто, Ангелина щеголяет в каракулевой шубе.

Ревекка молча проглотила пилюлю. Но, проснувшись однажды утром, наш квартал ахнул: вывешенные во дворе тети Марты сорочки, платки, косынки, фартуки, чулки, носки, детские платьица и другие предметы домашнего обихода оказались окрашенными в цвет траура! На кораблике Моисея Шаптошвили развевались черные паруса!

Вернувшийся из города Моисей сперва не поверил глазам. Он внимательно осмотрел диковинную галантерею, пощупал ее, взглянул на почерневшие ладони, потом подозревал нас.

— Тамаз, дорогой, какого цвета эта рубашка?

— Черного, дядя Моисей!

— Гизик, хочешь мороженое? Скажи мне правду!

— Черного! Ей-богу, черного!

— Дуду, они разыгрывают меня, да? — ухватился Моисей за соломинку.

— А ты не выпил случайно, дядя Моисей?

— Бродзели, скажи хоть ты правду, — какого цвета моя мануфактура?

— Да ты что, дядя Моисей, ослеп?

— Ревекка-а-а! — взвыл тогда Моисей, заколотив кулаками по голове. — Душегубка!

Подвал безмолвствовал.

---

<sup>1</sup> Сванетский квартал — старое название одного из районов Тбилиси.



Моисей скатился вниз по ступенькам и забарабанил в запертую изнутри дверь.

— Вылазьте, ироды! Покажитесь, кровопийцы! Оболю вас керосином, спалю все к черту!

Прибегнув к помощи ног, Моисей наконец преодолел сопротивление дубовой двери, и тут-то в подвале разыгрался ад почище дантовского — крики, вопли, стенания, проклятия... Двор заполнился народом, но охотников впутаться в это нечистое дело не находилось.

— Позовите Кукарачу! — сообразил кто-то.

Спустя пять минут лейтенант ворвался в подвал. А еще через минуту раздался душераздирающий вопль Моисея:

— Сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь!

И все стихло.

Потом из подвала вылез Кукарача с Моисеем под мышкой. В одной руке капитана парусника был зажат клочок огненно-красных волос Исхаака, в другой — половина иссиня-черной шевелюры Ребеки.

Не выпуская из подмышки Моисея, Кукарача вернулся в милицию. Потом во двор выкарабкались помятые домочадцы капитана. Они молча убрали черные паруса и так же молча убрались восвояси.

Вечером в сопровождении Кукарачи вернулся Моисей — ниже травы, тише воды. Они спустились в подвал. Что там произошло, какие состоялись переговоры — неизвестно. Но только вскоре из подвала донеслась песня в четыре голоса. И до самого утра кахетинский «Мравалжамиер» сменялся тбилисским «баяти», мингрельская «Арира» — гурийским «криманчули»...

— Талисман, что ли, у этого Кукарачи? Уму непостижимо! — сказала удивленная мама и захлопнула балконное окно.

Увы, эпопея с черными парусами на этом не закончилась. С того памятного вечера Моисей превратил двор тети Марты в арену цирка и почти каждый день устраивал представления.

Он возвращался домой вдрызг пьяный, спускался, волоча ноги, в свой подвал, и спустя пять минут начиналось столпотворение:

— Значит, таскала Ангелину за волосы, да?.. Значит, облила ее каракулевую шубу серной кислотой, да?..

Или:

— Значит, говоришь, Ангелина — не фельдшерица, а шлюха, да?.. К больным, говоришь, в постель лезет, да?.. А сама ты кто? А? Отвечай, стерва!..

И — в ответ — мольбы и причитания ползавшей на коленях Ревекки:

— Не надо, не надо, Мосе-джан! На, вот нож! За режь меня! Убей!

— Папик, не трожь маму, папик! Не трожь, говорю, а то... — грозился скрывавшийся за спиной матери Исхаак.

Потом появлялся Кукарача, и вмиг Моисей превращался в ягненка.

Однажды, в воскресенье, буйство Моисея превзошло все ожидания. Он выволок Ревекку на середину двора, содрал с нее платье и стал избивать поясным ремнем.

— Значит, кофту на Ангелине оборвала, да? Лиф с нее содрала на улице на радость мужчинам всего квартала, да? Вот тебе! Вот тебе! Еще раз!..

Исхаак с камнем в руке бегал вокруг отца и пищал:

— Папик, не трожь маму, а то!.. Не трожь, а то!..

Моисей на мгновение повернулся и дал своему отпрыску такого пинка, что тот отлетел метра на два и ткнулся головой в землю.

— Люди добрые, анафемы, звери, нет у вас бога?! Помогите! Позовите Кукарачу! — взывала Ревекка. И, словно вняв ее призыву, во дворе появился Кукарача.

Но тут свершилось чудо: Моисей не подчинился лейтенанту!

— Не подходи! Убью! — крикнул он и переложил в руке пояс с тяжелой металлической пряжкой.

— Брось пояс! — приказал Кукарача.

— Говорю тебе, не подходи! — повторил Моисей угрожающе и замахнулся поясом. Пряжка просвистела у самого виска лейтенанта.

Кукарача отступил.

— Не бери греха на душу! Подойдешь — убью! — предупредил Моисей, продолжая размахивать поясом.

Кукарача осторожно сделал шаг вперед, но увернуться от пояса не сумел. Тяжелая пряжка рассекла ему скулу. Брызнула кровь. Женщины завопили. Кукарача скрипнул зубами. А Моисей, увидев кровь на лице лейтенанта, словно обезумел. Он замахнулся еще раз, и снова пряжка угодила Кукараче в лицо. Что было потом — затрудняюсь описать. Все произошло во мгновение ока. Лейтенант схватил Моисея, подбросил в воздух и нанес ему один-единственный удар в челюсть. Моисей грохнулся у ног Ревекки, да так и остался лежать, не подавая признаков жизни.

Кукарача опустился на колени перед поверженным Моисеем, пощупал его челюсть, приложил ухо к груди, потом расстегнул ему воротник и потребовал воды. И тут же Ревекка, схватив валявшуюся во дворе толстую подпорку для белья, изо всех сил опустила ее на голову лейтенанта. Кукарача покачнулся.

— Убил его?! Убил кормильца семьи?! Ты будешь кормить несчастного сироту?! Умри, убийца! — И Ревекка замахнулась подпоркой во второй раз. Но Кукарача отнял у нее палку и забросил ее в конец двора.

— Поделом мне! — проговорил он, вытирая платком окровавленное лицо.

— Убил моего Моисея?! Убил кормильца?! — Ревекка вновь бросилась к Кукараче с камнем в руке.

— Да уймите же ее! — крикнул Кукарача, вырывая у Ревекки камень.

Потом он взял принесенное кем-то ведро и окатил водой Моисея. Тот застонал, затем зашевелил веками, наконец открыл глаза и приподнял голову.

— На, забирай своего благоверного и будь счастлива с ним! — сказал Кукарача Ревекке, швырнул на землю пустое ведро и вышел со двора.

Ревекка и Исхаак бросились к Моисею и завопили в один голос:



— Очнулся! Очнулся наш дорогой, наш кормилец, наша надежда, наша радость!.. Пусть отсохнет ударившая тебя рука! Пусть онемееет проклявший тебя язык!.. Заведи себе тысячу любовниц, солнышко наше, только не лишай нас своего ангельского голоса!.. Скажи нам хоть слово, радость наша!.. Одно только слово!..

Моисей и сам был бы рад ответить своим домочадцам, да не мог. Кукарача, если бил, то бил наверняка...

Кукарача с изувеченным лицом сидел в кабинете Сабашвили и прикладывал к ранам мокрый носовой платок.

— Слушай, Тушурашвили, сколько раз я говорил тебе — кончай с собственными инициативами?! — покачал головой начальник милиции.

— О какой инициативе ты говоришь? — поморщился Кукарача. — Сами же они умоляли меня спасти их! Этот болван Моисей бил их смертным боем!

— Не знаю, кто кого бил... — улыбнулся Сабашвили, взглянув на опухшее лицо лейтенанта.

— Кто мог подумать, что я же окажусь в роли пострадавшего? — Кукарача хотел встать, но, почувствовав боль в пояснице, остался сидеть.

Сабашвили нажал кнопку электрического звонка. Вошла молоденькая секретарша.

— Слушаю.

— Принеси-ка, пожалуйста, этому красавчику твое маленькое зеркальце!

Девушка прыснула, быстро прикрыла рот рукой и вышла.

— Издеваешься? — хмыкнул Кукарача.

— Нет. Хочу посоветоваться с тобой по одному вопросу. Нужно твое согласие.

Сабашвили начал что-то писать.

Секретарша принесла зеркальце. Кукарача посмотрел в него и тут же положил на стол начальника.

— Ну, как? Хорош? — спросил Сабашвили.

— Ничего. Но и ему досталось не меньше! — ответил в сердцах Кукарача.

— Как, по-твоему, когда заживет?

Кукарача пожал плечами.

— А все же?

— Ну, недели через две, наверное... Пряжка-то металлическая...

— А дней десять не хватит? — переспросил Сабашвили.

— Нет. Минимум — пятнадцать! — ответил категорически Кукарача.

— Подумай как следует! — Сабашвили продолжал писать.

— Чего ты пристал? Мне-то лучше знать! — обиделся Кукарача.

— Ладно, пятнадцать, так пятнадцать, пусть будет по-твоему. Отсидишь эти пятнадцать суток на гауптвахте!

— Это еще почему? — вскочил Кукарача, забыв о боли в пояснице.

— Десять — на приведение в порядок твоей побитой морды, пять — за хулиганство.

— Нет, значит, в мире справедливости?!

— Вот именно, во имя справедливости отсидишь пятнадцать суток! На вот, возьми, — Сабашвили протянул лейтенанту листочек бумаги. — Отдай сам секретарше, пусть отпечатает сейчас же, это приказ о твоём аресте.

Кукарача направился к двери.

— погоди! Дай-ка оружие. Пусть полежит у меня в сейфе.

— Ух, Моисей, была бы моя воля!.. — Кукарача достал из внутреннего кармана пистолет и положил его перед Сабашвили.

— Не огрызайся! Пятнадцать суток пройдут быстро... О лекарствах и пище позабочусь лично, — обнадежил Давид Кукарачу.

Лейтенант ушел. И на пятнадцать дней квартал лишился своего инспектора...

А Моисей? Моисей с металлическими фиксаторами на челюсти месяц пролежал в Михайловской больнице, и в течение этого месяца дражайшая его супру-

га трижды в день кормила его с серебряной ложки рисовой кашей.

Выписавшись из больницы, Моисей на старую квартиру уже не вернулся. Красильня, а с ней и цирковые представления с участием Моисея и его домоладцев, были упразднены. И нам пришлось по-прежнему довольствоваться лишь ослиными скачками...

Мы скатились вниз по тропинке вдоль правого устья моста имени Челюскинцев и спустя пять минут были на берегу Мтквари<sup>1</sup>.

В Тбилиси стояла адская жара. Над берегом колыхалось знойное марево.

Мы быстро разделись и бросились в воду. Кучико — старший среди нас — плавал отлично. Я, Дуду и Ирача не отставали от него. Лишь Костя-грек, недавно научившийся плавать, смешно барахтался в воде, размахивая руками и поднимая вокруг себя фонтаны брызг.

— Ну, как я плаваю? — обратился он к нам.

— Утром, при умывании, надевай на себя спасательный круг, иначе утонешь! — посоветовал ему Дуду.

— Ну, айда на тот берег! Кто может — за мной! — крикнул Кучико и поплыл.

После продолжительной засухи уровень воды в Мтквари был значительно ниже обычного, поэтому мы смело последовали за Кучико. Достигнув середины реки, я оглянулся и вскрикнул: за мной плыл Костя-грек! Зарывшись головой в воду, он бил руками и ногами с таким остервенением, словно дрался сразу с девятью противниками. Я сообразил, что упреками и выговорами мог лишь напугать его, поэтому крикнул бодро:

— Давай, Костя, жми! Я здесь!

Костя приподнял голову и тут же скрылся в воде. Я успел перехватить его умоляющий взгляд, увидеть его перекошенное от испуга лицо и понял, что он тонет.

---

<sup>1</sup> Мтквари — река Кура.



— Э-е-ей, ребята, помогите-е-е! — заорал я. — Костя то-о-о-нет!

— Где-е-е? — отозвался сразу же Кучико и повернул обратно, но Кости уже не было видно.

— Нырять! — крикнул Кучико и нырнул сам.

Костя исчез. Мы неслись вниз по течению и уже доплыли до места, где вода была мельче и мы могли стоять на ногах. И вдруг шагах в десяти от себя мы увидели Костю. Его голова на мгновение показалась из воды, раскрытым ртом судорожно глотнула воздух и вновь скрылась.

— Вот он! Помогите-е-е! — заорали мы вместе.

— Держитесь! — услышали мы чей-то громкий голос и увидели человека, пробивавшегося по горло в воде. Он настиг Костю, схватил его, прижал к груди, упал, на миг скрылся под водой вместе со своей ношей, но тут же поднялся, подхватил Костю и стал медленно, шаг за шагом приближаться к берегу.

— Кукарача! — вырвался у нас изумленный крик. — Помоги. Кукарача!

— Помогите мне сами, бродяги! Я же не умею плавать!

Но опасность ему уже не угрожала. Через несколько минут мы благополучно добрались до берега. Не переводя дыхания, Кукарача ухватил Костю за ноги, поднял его и выкачал из него ведро воды. Потом он уложил незадачливого пловца на гальку и сам уселся рядом с ним. Мы расположились вокруг.

Прошла минута, другая, третья... Костя застонал, зашевелился и открыл глаза.

— Очнулся, герой? Ну, как ты? — спросил Кукарача.

Узнав лейтенанта, Костя в испуге зажмурился и громче застонал.

— Это я! Взгляни-ка еще раз! — Кукарача пальцем оттянул веко Кости. — Узнаешь?

Костя молчал. Кукарача встал, снял пояс, расстегнул воротник. Мы, как по команде, стали одеваться.

— Отставить! — приказал Кукарача. Мы беспрекословно подчинились. Он собрал в кучу нашу одежду. — Становись по росту!

— Кукарача, отдай хоть трусы! — заскулил Кучико.

— Я кому сказал!

Прикрываясь руками, мы выстроились в шеренгу — Кучико, затем Ирача, Дуду, я. Костя-грек все еще лежал навзничь. Оберегая его мозги от солнечного удара, Кукарача накинул ему на голову чью-то рубашку. Потом уселся на большой валун и окинул нас критическим взглядом.

— Кто из вас самый авторитетный осел, — выходи! — распорядился он.

К кому относилась эта лестная характеристика, отлично понимал каждый из нас и лучше всех сам Кучико. На всякий случай он покосился на нас — авось найдется желающий первенства, но, не найдя такового, нехотя приблизился к Кукараче.

— Опустите руки!

Кучико смутился, покраснел, но послушаться не посмел. У Кукарачи дрогнул в улыбке уголок рта, словно он отгонял муху. Он протянул Кучико ногу:

— Ну-ка, помоги скинуть сапог!

Кучико, ожидавший разноса, а может быть, и чего-либо похуже, стремглав бросился выполнять приказ лейтенанта и стал стягивать сапог с его ноги с таким рвением, что вместе с сапогом опрокинулся назад. Вскочив, он тут же ухватился за второй сапог.

— Полегче, медведь, ногу оторвешь! — рассмеялся Кукарача.

Мы вздохнули с облегчением — «пронесло!».

Кукарача скинул гимнастерку, извлек из ее кармана три слипшиеся трехрублевые бумажки, осторожно отделил их друг от друга, разложил на камнях и прикрыл сверху камушками. Затем вынул из другого кармана размокшее удостоверение, развернул, с сожалением покачал головой, положил его рядом с трехрублевками и пробормотал про себя:

— Разберись теперь, кто ты такой — Тушурашвили или Чибурданидзе! — Потом прикрикнул на нас: — Чего рты разинули? Выжмите гимнастерку! И вот это! — И он бросил нам брюки, а сам стал выжимать майку.

Мы были готовы выжать одежду всего населения Тбилиси, лишь бы задобрить лейтенанта.

— Осторожно! Порвете, чего доброго! Или, думаете, мне выдадут новую форму?

Потом Кукарача извлек из кобуры наган, высыпал патроны и разложил их по одному на камнях. У нас сперло дыхание. Патроны! Настоящие! Я запомнил навсегда — их было семь штук — продолговатых, с тупыми головками, и из каждого из них угрожающе смотрела смерть.

Кукарача продул наган, положил его рядом с патронами и обернулся к Косте.

— Ну, как теперь? Полегчало?

— Хорошо! — ответил Костя и приподнялся.

— Лежи пока! А вы, — Кукарача обратился к нам, — становитесь в шеренгу!

Считая инцидент исчерпанным, мы охотно выстроились в ряд.

Кукарача поджал под себя по-восточному ноги, оперся руками о колени и, сощутив глаза, уставился на нас.

— Ну-ка, герои, кто из вас первый надумал купаться в Мтквари?

Разумеется, никто из нас не был способен на предательство, но невольно мы взглянули на Кучико.

— Значит, ты?

Разоблаченный Кучико понурил голову.

— Так... Значит, Вэре вам уже не хватает? Сегодня вам захотелось Мтквари, завтра захочется Черное море, послезавтра — Дарданеллы, затем Босфор, потом Средиземное море, потом... как этот пролив называется?

— Гибралтарский... — пробормотал я.

— Гибралтарский. А потом — Атлантический океан. Так?

— Можно и в Индийский океан, через Суэцкий канал, — подсказал Ирача новый вариант.

— Заткнись, второгодник несчастный! — рывкнул на него Кукарача. — Тоже мне нашелся Магеллан!.. Подойди ко мне! — приказал он Кучико и встал.

Кучико приблизился к Кукараче. Остальное произошло так быстро и неожиданно, что Кучико не успел



опомниться: Кукарача влепил ему правой рукой звонкую пощечину.

— Чего дерешься?! Отец ты мне или кто? — взвыл Кучико.

— Поговори у меня!

— Да что, в самом деле, уже и купаться нельзя? Вэре разве река? Всю кожу ободрал на коленях!

Кукарача пропустил протест Кучико мимо ушей.

— Следующий!

Ирача воспользовался наглядным примером и как только приблизился к Кукараче, тотчас же закрыл рукой левую щеку. И тут же Кукарача закатил ему оплеуху левой рукой. Ирача дважды повернулся вокруг собственной оси, однако у него хватило ума молча вернуться на свое место.

— Всех будешь бить? — спросил тихо Дуду.

— А как же? Не могу ведь я поступить не по справедливости?

Дуду вышел, не ожидая приказа.

— Раз ты такой дисциплинированный и покорный, я ограничусь меньшей мерой наказания! — Кукарача схватил ухо покорного преступника и вывернул его так, что лично я предпочел бы две пощечины.

Настала моя очередь. Кукарача сам подошел ко мне.

— Мать знает, где ты?

— Нет.

— Так получай!

Я покачнулся, но удержался на ногах.

— Больно? — спросил Кукарача.

— Больно, — признался я, — ударь еще раз, только не говори маме...

Кукарача взглянул на меня, хмыкнул. Потом подошел к Косте. Тот закрыл глаза и затаил дыхание.

— Ты, болван! Куда ты лез, если не умел плавать? А? Скажем, утонул бы я... Из-за тебя, учти! Ладно, черт со мной!.. Ну, а если утонул бы ты? Ты подумал об этом? Что бы мы сказали твоим родителям? Чем бы мы утешили их? А? — Кукарача побледнел, голос

у него прервался. Он сел, швырнул нам одежду. Мы схватили свои манатки и собрались бежать.

— А его? Кому вы оставляете эту подводную лодку? — Кукарача ткнул Костю кулаком в бок. — Забирайте его и сдайте на руки родителям. Да поживее, пока я сам его не утопил!

Костя оделся быстрее всех нас.

— Вы не пойдете? — спросил Кукарачу вежливо Кучико.

Тот выразительно взглянул на свои мокрые доспехи, и Кучико, поняв, что сморозил глупость, быстро повернулся и пошел. Мы последовали за ним, как цыплята за наседкой.

Вдруг мы услышали голос Кукарачи:

— Ребята, вы уж не обижайтесь на меня... Служба есть служба... И еще... Просьба у меня к вам... Небольшая просьба... — Мы в недоумении переглянулись, — просьба к нам? У Кукарачи? А он продолжал: — Не рассказывайте никому, что я... Что я не умею плавать... Ладно?

Мы вскарабкались по откосу правого устоя моста и стали подниматься по Варазисхевскому подъему.

Тому, что я, сын строгой — казалось бы, больше некуда — матери, — курил, удивляться не приходилось. В нашем квартале тайком от родителей курили почти все мои сверстники. Удивительным был тот факт, что курить нас научила Цаца Барамия — соседка, деревенская девочка, моя ровесница, проживавшая у родственников на правах домработницы. А девочку, в свою очередь, обучил этому весьма полезному занятию обожавший ее дед — Иван Пиццхалава в Носири<sup>1</sup>. Каждый раз, когда у нежившегося на цинковке под ореховым деревом Ивана потухала трубка, он, оказывается, окликал любимую внучку:

— Цаца, о Цаца!

— Патени!

— Кумомиги, дзгаби, дачхири!<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Носири — название села в Западной Грузии, Мегрелии.

<sup>2</sup> — Слушаю!

— Принесика-ка, девочка, огня! (мегр.)

Цаца несла огонь. Трубка снова потухала. На сей раз дед вручал внучке трубку — иди, мол, раскури сама. И девочка раскуривала трубку. Так бедная Цаца приучилась курить. И так получилось, что нас — мальчиков-озорников, сорвиголов, жуликов, мошенников и прохвостов — пристрастила к курению честнейшая и добрейшая девочка — Цаца Барамия.

В те годы отношение общества к подросткам-курильщикам было таким же, как, скажем, в наши дни — к наркоманам. Поэтому можете представить себе положение мое, Дуду, Ирача, Кости-грека и Кучико, когда мы, накурившиеся до одури у забора тети Марты, были застигнуты врасплох Кукарачей.

Не знаю, что в этот миг почувствовали другие ребята, лично для меня померкло солнце, разверзлась земля, иссяк воздух. Кулак с зажатой в нем папироской я врыл в землю, проглотил дым вместе со слюной и, задыхаясь, уставился на онемевшего от изумления лейтенанта. Прошла минута, показавшаяся мне вечностью. Наконец Кукарача обрел голос:

— Что... Что вы делаете?.. Губите себя? Хотите, чтобы сгнили ваши легкие и высохли мозги? Роете себе могилу? Решили умереть? Сдохнуть? Так скажите мне! Вот! — Он достал наган. — Зачем обрекать себя на медленную смерть? Раз-два, и готово!.. Как мне теперь быть? Перестрелять вас, или застрелиться самому?

Словно пораженные громом, взирали мы на Кукарачу, боясь шевельнуться, вымолвить слово. Мы ждали бури, урагана, потопа. Но ничего этого не произошло. Кукарача спрятал наган, повернулся и ушел...

Раз десять звонил в тот вечер звонок в нашей прихожей, и столько же раз у меня обрывалось сердце. Наконец, когда я решил, что сегодня уже землетрясения не будет, раздался одиннадцатый звонок, и я понял, что это был Кукарача.

Я не смог даже встать со стула. Дверь открыла мама.

— Добрый вечер, Анна Ивановна!



— А, Кукарача! Милости просим! Заходи, присаживайся!

Я почувствовал, что началось действие вулкана, и встал, чтобы до его извержения успеть исчезнуть из комнаты, из дома, из города и вообще из жизни.

— Сиди! — сказала мама. — Ты, конечно, по делу? — обратилась она к Кукараче, который держал в руке толстенную книгу.

Лейтенант взглянул на меня.

— Что, опять он травил реку? — спросила мама.

Кукарача опустил глаза.

— Ограбил банк?

Кукарача молчал.

— Убил человека? — В голос мамы вкралось раздражение.

Кукарача понял, что настал критический момент, и положил книгу на стол.

— Что это?

— Это, Анна Ивановна, Большая Советская Энциклопедия. С вашего позволения, хочу ознакомить вас с одной статьей.

— Зачем же ты утруждал себя? У нас энциклопедий — хоть пруд пруди! — Мама показала на забитый книгами шкаф.

— Мда-а... Не сообразил, — улыбнулся Кукарача.

— Это касается меня или обоих?

— Скорее — его, но ваше присутствие также желательно.

Мама села и приготовилась слушать. Кукарача кашлянул в кулак.

— Ну, ждем, просвети нас! — подбодрила его мама.

— Никотин! — начал Кукарача и сделал паузу. Мои и мамины взгляды на миг встретились, и мне показалось, что глаза мои пронзили раскаленными иглами. Я опустил голову и зажмурился. Словно сквозь сон доносился до меня голос Кукарачи:

— Никотин... Французское слово — Nicotine, от имени французского дипломата Ж. Нико, который первым ввез в 1560 году табак во Францию... При курении табака никотин проникает с дымом в дыхательные пути и, всасываясь, действует на узлы нервной

системы... Действие никотина двухфазное: в малых дозах — возбуждающее, в больших — угнетающее и ведущее к параличу нервной системы, остановке дыхания, прекращению сердечной деятельности. Никотин — один из самых ядовитых алкалоидов: несколько капель его при введении человеку могут вызвать смерть...

Кукарача умолк.

— И что же? — спросила мама после долгого молчания.

— Чего вам больше? Про похоронные расходы здесь не говорится, — попытался Кукарача сострить.

— Я не про это. Что сделал ты, застав его за курением?

— Я?.. А что я мог сделать? — растерялся Кукарача. — Вот, пришел к вам...

— Он был один?

— У тех я уже побывал. И даже взял расписки.

— Какие расписки?

— Вот, пожалуйста...

Кукарача извлек из кармана сложенные вчетверо листки ученической тетради и развернул один из них.

«Я, Дуду Доборджгинидзе, даю пионерское слово, что никогда в жизни не буду не только курить, но даже смотреть на папиросы. Клянусь мамой, папой и всеми».

Кукарача сложил и спрятал листок.

— Осталось теперь взять расписку от нас, и борьба с никотином закончена, да? — спросила мама, не скрывая иронии. Потом она встала и направилась ко мне. Я даже не сдвинулся с места, — хуже того, что уже произошло, случиться не могло. Мама закатила мне пощечину, против которой пощечина Кукарачи на берегу Мтквари показалась мне детской лаской.

— Что вы делаете! — Кукарача схватил маму за руку.

— Отстань! Я знаю, что делаю! — Мама попыталась отстранить Кукарачу.

— Что вы, Анна Ивановна, как можно! Если б помогли пощечины, то я сам...

— Кто же это?.. Кто меня погубил? — спросила глухо мама.

Я-то знал, как ответить на этот вопрос, но одно мое слово сейчас было бы равносильно моей смерти.

— Кто? Вы сами, Анна Ивановна! — сказал Кукарача спокойно.

— Что?!

— Установлено, что, как правило, курить начинают дети родителей-курильщиков, — так же спокойно произнес Кукарача.

— Значит, перевоспитать следует меня? Так, что ли? Может, написать расписку — «Я, Анна Ивановна Бахтадзе, даю пионерское слово...»

— Зачем же вы так, Анна Ивановна? — прервал маму обиженный Кукарача. — Энциклопедию составлял не я, и табак в Грузию завезен не мною... Извините...

Мама опешила, покраснела, быстро повернулась и вышла из комнаты. Не знаю, рассердилась она или ей стало стыдно. Скорее последнее. Кукарача понял, что оставаться ему у нас не стоит. Он взял энциклопедию под мышку и направился к двери. Здесь он остановился, взглянул на меня, и на лице у него появилось выражение, похожее на раскаяние. Я опередил его:

— Шпион ты, Кукарача, шпион! Мильтон несчастный! Ненавижу тебя!

Словно гора свалилась с моих плеч, — я высказал Кукараче то, что думал о нем в ту минуту.

Я увидел, как покрылось смертельной бледностью смуглое лицо Кукарачи...

Овощной ларек борчалинского колхоза имени Махарадзе стоял на краю Варазисхеви, рядом с нашим домом. Весь персонал ларька состоял из двух азербайджанцев — Али и Ибрагима. Нам нравилось, как они смешно коверкают грузинский язык.

— Ты, малшик, очен хатиш, штобы тебе пабит, да? — беззлобно угрожали они нам, уличив в попытке стащить с прилавка семечки подсолнуха или сушеные сливы.

Ларек торговал всем, что производилось в колхозе, — начиная с винограда и вина и кончая арбузами,



иногда даже мясом, так что маме почти не приходилось ходить на базар.

Старший, Али, был примерно в возрасте моего отца, Ибрагим — моложе, лет семнадцати-восемнадцати. Он немного косил, и Али, бывая в дурном настроении, называл его «косой сукинсин».

Сейчас мне трудно сориентироваться в ценах того времени, но помню отлично: на рубль Али давал мне столько зелени, что она не умещалась на нашем кухонном столе. И еще говорил:

— Малшик, ты скажи свой мама,— Али сдачи не имел, следующие раз отдал все сразу...

Мама называла Али и Ибрагима жуликами, но поддерживала с ними доброе знакомство. К нам, ребятам, они относились хорошо, нередко угощали нас и семечками, и абрикосами, и сливой.

В середине июля Али и Ибрагим привозили полный фургон арбузов и дынь и сваливали их кучей перед ларьком. А потом Ибрагим весь день без передышки расхваливал свой товар:

— Кому борчалинский харфуз и дынь на разрез! Сладкий харфуз! Вах-вах-вах, какой дынь!

От покупателей не было отбоя. Но меня прельщали не арбузы и не дыни. С утра до вечера торчал я у ларька и как замороженный смотрел на красовавшийся за поясом Ибрагима кривой турецкий нож с черной рукояткой, которым он делал пробные разрезы на арбузах. Не было для меня на свете вещи более красивой и более желанной, чем этот нож, он преследовал меня во сне и наяву.

Был понедельник, 13 июля,— день каверзный и подлый. Мама послала меня за зеленью. Я подошел к ларьку и увидел его — предмет моих вожделений и мечты! Ибрагим и Али хлопотали в ларьке, на улице не было ни души, а на самой макушке арбузной пирамиды сверкал, блестел на солнце воткнутый в огромный арбуз кривой турецкий нож...

Не помню, что произошло со мной, кто вскрыл мой череп, кто вывернул мои мозги и шепнул на ухо:

— Иди, не бойся...

Помню лишь, как нож оказался в моих руках, как рухнула арбузная пирамида, как я ворвался во

двор тети Марты, закопал нож под забором и как обомлел, увидев вдруг появившегося словно из-под земли Кукарачу...

— Здорово, Тамаз! — приветствовал он меня.

Вместо того, чтобы встать, я сел на землю.

— Как дела? Что нового?

Ссориться с лейтенантом меня сейчас не устраивало никак. Поэтому я глупо улыбнулся и пожал плечами, продолжая сидеть. Тогда Кукарача сам опустился рядом со мной на корточки, чтобы вести беседу, как говорится, на одном уровне.

— Где твои дружки?

— Не знаю... Кто на даче, кто в Тбилиси...

— А ты что здесь делаешь?

— Жду отца. Он должен приехать на днях. Наверно, поедет в Кобулет.

— Да нет, чем ты сейчас занят, каковы твои планы на сегодня?

— На сегодня?.. Пока не знаю... Зайдут, наверно, ребята... Сходим на Вэре, или в зоопарк...

— А до этого? — не отставал Кукарача.

— Пойду домой, — ответил я.

— Не дождешься ребят?

— Придут — сами позовут.

Где-то, в уголочке сердца, у меня вспыхнула искорка надежды — а может, он ничего не видел? Может, он пришел случайно? Может, он хочет помириться со мной после той истории с папиросами? Я встал и сказал с наигранным равнодушием:

— Ну, я пошел...

— Сядь! Пока придут ребята, поиграем.

— Поиграем? Во что?

— Ну, хотя бы в орел-решку.

Кукарача достал из нагрудного кармана серебряный рубль, положил его на указательный палец, щелкнул снизу большим пальцем, поймал на лету монету, зажал в кулаке и вопросительно взглянул на меня.

— Решка! — сказал я.

Кукарача разжал кулак.

— Проиграл ты! — Кукарача снова подбросил монету.

— Не хочу больше... — Я встал.  
— погоди! Может, сыграем в ножик? — предложил Кукарача.

— Что?! — Я схватился за сердце.

— В ножик, говорю, сыграем! — повторил Кукарача.

— Что ты пристал ко мне? Что тебе нужно?! — Я был готов расплакаться.

— Ничего, кроме твоей дружбы, чего же еще? — Кукарача встал, нашел в куче мусора кусочек угля и начертил на воротах два круга — один большой, другой поменьше — внутри первого. Потом бросил уголек, вытер руки друг об друга, отсчитал от ворот десять шагов, носком сапога провел по земле черту и обратился ко мне:

— Одолжи-ка нож!

Цепенея от ужаса и собственной подлости, я спросил:

— Какой нож?

— А тот, который ты закопал под забором! — ответил Кукарача уверенно, словно нож закапывал он сам.

Что мне оставалось делать? Я откопал нож и отдал его Кукараче.

Лейтенант с минуту внимательно рассматривал нож, удовлетворенно кивая головой. Вдруг нож молнией вырвался из его руки, со свистом описал в воздухе дугу и вонзился в большой круг.

— Принеси! — сказал мрачно Кукарача.

Я с трудом вытащил из ворот нож и принес его лейтенанту. Он снова бросил нож и снова попал в большой круг. Следующие три броска оказались снайперскими — в середине внутреннего круга. Кукарача довольно улыбнулся.

— Твоя очередь. Пять бросков. Запомни, у меня сорок восемь очков — две девятки, три десятки.

Я бросил и угодил ножом в тутовое дерево, метрах в трех от ворот.

— Ну, ты даешь! — рассмеялся Кукарача.

— А я целился в дерево! — солгал бессовестно я.

— Валяй!



Остальные четыре броска оказались и того хуже. Нож попадал в ворота или рукояткой или боком, но никак не лезвием. На шум вышла тетя Марта. Она изумленно воззрилась на нас, потом схватила за голову:

— Господи, что я вижу, ослепни мои глаза! Что это такое? Чему ты учишь ребенка, чтоб ты провалился вместе с твоей милицией! Бездельник! Кукарача черномазый!

— Побойся бога, тетя Марта, какие ты отпускаешь словечки?! Неужели ты никогда не ела сахар? — Кукарача миролюбиво улыбнулся старушке, обнял меня за плечи и вывел со двора. — А теперь мы пойдем и вернем нож хозяину. Ладно?

В азарте состязания я успел уже забыть про этого проклятого Али, и теперь меня словно кипятком обдало.

— Отнеси ты...

— А почему не ты?

— стыдно мне!

— Ничего. Пойдем вместе. С Али поговорю я.

Мы подошли к ларьку, когда гнев и возмущение Али, вызванные пропажей ножа, достигли апогея. Причем были они обращены в основном против бедного Ибрагима.

— Косой сукинсин, какой нож потерял! Тепер я как продал харфуз на разрез?! Гавариш — кто-то украл, украл! Лучше я один хороши сабак держал, он хотя бы лайт!

При виде Кукарачи Али повысил голос:

— Милисия, где ты?! Куда смотришь, милисия?! Утром, в сентр город, мне ограбил какой-та сукинсин!

— Я здесь, Али! И вот твой нож!

— Вах, дарагой мой! Ты не милисия, ты настояши золото! — Али выскочил из-за прилавка и стал обнимать Кукарачу.

— Ты не меня, ты его благодари! Это он нашел твой нож! — Кукарача подтолкнул меня.

— Дарагой мой малшик! Скажи, кто мой нож украл? Я ему уши отрезал!

— Я не знаю, это Кукарача отнял нож у вора! — выкрутился я.

— Ай, я его душа матал, сволош, сукинсин!

Али не подозревал, что эти эпитеты он адресовал не кому другому, как мне, только что объявленному им же «дарагим его малшиком».

— На, дарагой,— продолжал он,— бери падарок, денги не нада! — И он протянул мне два небольших арбуза.

Я отказался, попятился назад.

— Возьми, чудак! — подбодрил меня Кукарача.

Я взял арбузы.

— А что надо сказать? — наставительно напомнил мне Кукарача.

— Спасибо, дядя Али, только зачем мне два арбуза? Дай одну дыню.

Кукарача расхохотался.

Али исподлобья посмотрел на меня.

— О-о, малшик, ты тоже балшой хитри сукинсин! — И обменял один арбуз на дыню.

— Кукарача, а что я маме скажу? Откуда все это? Бери-ка их ты!

Кукарача взял у меня арбуз и дыню, и мы пошли домой.

Мама ужаснулась:

— Кукарача, не говори, что это украл мой сын, а то я покончу с собой!

— Что вы, Анна Ивановна, это Али преподнес мне, а я — вам,— успокоил ее Кукарача.

— Чем я заслужила такое внимание?

Кукарача неловко улыбнулся и развел руками.

— Ты не обижайся, Кукарача... Скажи мне откровенно: ты бегаешь только за Тамазом и ходишь только к нам, или ко всем?

Кукарача задумался. Видно, он не ожидал такого вопроса.

— Нет, Анна Ивановна... Я, как вы изволили выразиться, бегаю не только за вашим сыном и хожу не только в ваш дом... Я — участковый инспектор, и мне приходится бывать всюду... Но, признаюсь, у вас я

чувствую себя как-то необычно... Волнуюсь, как на экзамене... В других домах меня иначе как «уважаемый» не величают.— «Пожалуйте, уважаемый Георгий!», «Присядьте, уважаемый Георгий!», «Пропали бы мы без вас, уважаемый Георгий!..» А вы... Вы спорите, даже ссоритесь со мной, Кукарачей меня зовете...

— Но ведь ты сам просил называть тебя так,— смутилась мама.

— В том-то и дело... Я и других просил... Хотя нет, вру! Не просил я никого называть меня Кукарачей... В общем, я не знаю, как это объяснить... Мне кажется, что когда-то я уже жил в вашем доме... Как ваш Тамаз... Потом я в чем-то провинился, и меня изгнали отсюда... И вот теперь я вновь вернулся, искупив свои грехи...— Кукарача умолк.

Мама достала папиросы и закурила,— она была взволнована, иначе в присутствии Кукарачи не стала бы курить.

— Какие же у тебя обязанности в милиции, Кукарача? — спросила мама. О функциях инспектора милиции она была осведомлена не хуже самого лейтенанта. Вопрос был задан, чтобы нарушить затянувшееся молчание.

— Обязанности? Ну, во-первых, преследование бандитов и воров...

— Что-то я не слышала про пойманного тобой бандита,— рассмеялась мама.

— Пока я здесь, ни один уголовник Ваке не посмеет даже шелохнуться! — отшутился Кукарача.

— Допустим. Что еще? — допытывалась мама.

— Еще — идейное воспитание детей,— ответил Кукарача не без гордости,— правильное направление духовной жизни подростков.

— Да? А что тебе известно о духовном воспитании, духовной жизни и вообще о душе?

Кукарача замялся, но тут же нашелся:

— Как же, Анна Ивановна, душа есть душа, а духовная жизнь — это кино, театр, живопись, музыка... И еще — любовь всего этого и вообще любовь!



— И ты думаешь, что бандиты не ходят в кино, жулики, растратчики, спекулянты не имеют жен и детей, не любят никого? — Мама затушила папироску и вопросительно взглянула на Кукарачу.

Лейтенант задумался.

— Да, странно получается... А вы, Анна Ивановна? Что вы знаете о душе?

Теперь задумалась мама.

— В этом, дорогой мой, не так-то просто разобраться... По-моему, душа — это мысли, мечты человека, заключенные в бутылку, вроде сказочного джинна, которые со дня своего возникновения ждут, стремятся к свободе. Мы иногда освобождаем их — вольно или невольно, чаще же всего они сами вырываются на свободу. А освобожденная человеческая мысль способна творить чудеса в науке, искусстве, литературе. Для меня каждый гений — это вырвавшийся из бутылки джинн. Правда, есть и среди гениев относительно крупные и малые, сильные и слабые, но это не так уж важно. Счастье обретенной свободы они воспринимают в равной мере. — Мама говорила тихо, спокойно, как бы про себя, и лишь в конце взглянула на Кукарачу: — Хорошо, Кукарача, если всеми этими делами в милиции поручено заниматься тебе...

— Анна Ивановна, а где написано обо всем этом? — спросил удивленный Кукарача.

— Не знаю... Не помню... Наверное, нигде... Просто, это я так думаю.

— А любовью? Любовь тоже относится к душе? — поинтересовался Кукарача.

— Наверное... Во всяком случае, из всех сокровищ, дарованных богом человеку, самое драгоценное — это талант любви. Мне жаль человека, ушедшего из жизни без любви...

— Я очень люблю детей.

— Значит, ты счастливый человек.

— А вы?

— Я — мать, и любить — моя первейшая обязанность.

— Да, трудное это дело — дети... Вот вы сказали — бегаешь, мол, за Тамазом... А он ведь не один. И мне часто приходится следить, как шпиону, за ними — как бы не подрались, не попали в беду, не стянули чего-нибудь. — Кукарача бросил на меня мимо-летний взгляд. — Быть может, они и ненавидят меня, но что делать? Стараюсь из-за любви к ним, и только! А ведь мог я стать отличным хлебобором или кузнецом! — Кукарача показал свои здоровенные кулаки.

— Конечно, — согласилась мама, — трудно воспитывать детей — не то что чужих, даже собственных...

— Да... Вот, скажем, за воровство Уголовный кодекс предусматривает от трех до пятнадцати лет...

— Очень строгий закон!

— Строгий, но необходимый!

— Скажи-ка, а как вы ловите воров?

— Обыкновенно. Украл — поймал, не украл — пусть гуляет... Случается и так: знаем, что человек вор, а трогать его не имеем права. Улики нужны, свидетели! Есть даже такая поговорка: «Не пойман — не вор!»

— Я-то думала — сложная у вас работа.

На Кукарачу словно вылили ушат холодной воды.

— Ну, знаете... — произнес он обиженно.

— Хорошо... А до того, как вор украдет? Вы принимаете какие-либо меры?

— Конечно. У нашей работы ведь есть своя специфика. Существует такой термин — профилактика преступности...

— Я не об этом, — прервала Кукарачу мама. — Меня интересует, проводите ли вы с ворами беседы?

— Какие беседы?! — искренне удивился Кукарача.

Мама встала, подошла к книжному шкафу, сняла с полки книгу в черном переплете, раскрыла ее и обратилась к лейтенанту:

— Ну-ка, послушай! Я постараюсь несколько облегчить текст: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя,

чтоб погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввергнуто в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввергнуто в геенну». Понял?

— Прочтите, пожалуйста, еще раз! — попросил Кукарача.

Мама повторила.

— Вот это да! — воскликнул Кукарача. — Вот это — строгость! Вырвать собственный глаз! Отсечь собственную руку! Против такого закона наш закон — рай!

— Это не закон, Кукарача, это заповедь. Будь это законом, сейчас половина населения Грузии была бы одноглазой и однорукой, — сказала мама.

— А что такое — заповедь?

— Заповедь — это нравственное правило, положение, из которого вытекают все законы. И вот, я спрашиваю: приобщаете ли вы к этим заповедям людей, прежде чем их арестовать?

— Людям, с которыми мы имеем дело, не помогут никакие заповеди... А что это за книга, Анна Ивановна?

— Евангелие от Матфея.

— А вы читаете его Тамазу?

— Тамазу? — опешила мама. — Знаешь, я не думала об этом... По-моему, рано еще...

— Анна Ивановна, одолжите мне эту книгу, верну через два дня, — попросил Кукарача.

Мама молча положила перед ним Евангелие.

— Трудно, конечно, будет мне понять все, но я обращаюсь за помощью к вам. Вы, наверно, хорошо владеете древнегрузинским языком?

— ...И французским, и английским, и немецким, — прихвастнула мама.

— Когда же вы успели выучить столько языков? — удивился Кукарача.

— Эх, дорогой мой, все мы, люди всего мира фактически говорим на одном языке, но не понимаем



друг друга только потому, что не умеем прислушиваться друг к другу! — вздохнула мама.

— Нет ли у вас чего-нибудь от головной боли? — спросил вдруг Кукарача.

Мама вынесла две таблетки и полстакана воды.

— На, если боль несильная, прими одну, если очень болит — две.

Кукарача проглотил обе таблетки, поблагодарил, встал и направился к двери.

— Анна Ивановна, а можно мне рассказать об этом нашим, в милиции?

— О чем, Кукарача?

— Вот об этом самом — о душе, о заточенном в бутылке джинне, о заповедях...

— Ну, дорогой мой, Евангелие писала не я, и то, что говорила о душе, не является моей тайной, так что...

— Спасибо, Анна Ивановна!

Спустя два дня Кукарача возвратил Евангелие. Никакой помощи он у мамы не просил. Пришел, поблагодарил и ушел.

С тех пор Кукарача у нас не появлялся. При встрече на улице он ласково трепал меня по щеке и просил передать привет маме.

У Кукарачи появилось иное дело — гораздо серьезнее и сложнее, чем возня с нами.

Все, о чем будет рассказано ниже, — это события, свидетелем которых был я сам, о которых нам стало известно по просочившимся из милиции слухам и которые в свое время взбудоражили все население нашего квартала.

Трижды Кукарача вызывал Ингу в милицию, и ни разу она не явилась. Наконец лейтенант сам отправился к ней, но не застал ее дома.

— Так запросто ты ее в милицию не заманишь. Она отчаянная,— сказал Кукарача дворник Шакро. Кукарача просунул повестку в замочную скважину и ушел.

На улице он встретил среднего роста красивую девушку с длинными каштановыми локонами. Вид у девушки был такой беспечный и довольный, и сумкой размахивала она так весело, словно весь мир принадлежал ей одной.

Кукарача невольно остановился. Девушка прошла мимо, даже не взглянув на него. Кукарача повернулся и не без удовольствия стал смотреть на ладную фигуру и стройные ноги удалявшейся девушки. Она почувствовала пристальный взгляд мужчины, быстро обернулась, подбоченилась, приняв вызывающую позу.

Кукарача расхохотался.

— Чего смеетесь? — нахмурилась девушка.

— Вы — Инга?

— Допустим. Ну и что?

— Не «допустим», а точно. Вы — Инга? — спросил Кукарача.

— Да, я Инга. А вы кто?

— Я тот самый Кукарача, который трижды приглашал вас в милицию.

— А-а-а... Ну, и что вам угодно?

— Об этом узнаете в милиции, милая моя Инга! — Кукарача подошел к девушке.

— Думаете, вам легко удастся привести меня в милицию? — подняла брови Инга.

— Думал бы так, не стал бы тащиться по этому подъему! — признался Кукарача. — Но в милицию я вас все же приведу.

— Ну, разве силой, волоком! — рассмеялась Инга.

— Подумаешь, задача! Я два финских танка приволок в свой штаб! — с улыбкой, но очень серьезно сказал Кукарача.

— Да?

— Да.

— Как?

— Завтра в девять пожалуйста ко мне в милицию. Там узнаете все. А зовут меня Георгий Тушурашвили.

— Да?

— Да.

— Кукарача звучит лучше!

— Так зовите меня Кукарачей.

— А может, пойдем ко мне? Там и поговорим...— В тоне девушки почувствовались любопытство, уважение и даже некоторый страх.

— Нет, сегодня вы устали с работы... К вам зайду в другой раз, а завтра жду вас.

— Хорошо.

— В дверях вы найдете повестку. Не обижайтесь. Я не думал встретить вас на улице. Порвите повестку, не читая.

— Хорошо.

— До свидания.

— До свидания.

Кукарача и Инга медленно разошлись.

Она не пришла ни в девять, ни в полдесятого. Чтобы скоротать время, Кукарача в который раз перечитывал извлеченную из архива паспортного стола автобиографию Инги.

«Я, Инга Амирановна Лалиашвили, родилась 19 апреля 1920 года в г. Тбилиси. Отец — Амиран Давидович Лалиашвили, скончался от порока сердца в 1926 году. Мать — Анастасия Александровна Хмаладзе-Лалиашвили — скончалась в 1927 году от туберкулеза. После этого я воспитывалась в Земо-Авчальском детском доме. Здесь же окончила семилетку. В 1934 году поступила в двухгодичное провизорское училище, которое окончила с отличием в 1936 году. Работаю в аптеке № 128 на выдаче лекарств. Беспартийная. Не замужем. Проживаю в г. Тбилиси, Кобулетский подъезд, № 137.

И. Лалиашвили.  
27.IX.1936 г.»



Она не пришла. Кукараче стало больно и обидно, — не думал он, что девушка обманет его.

Он закрыл папку, положил ее в ящик стола, встал, надел фуражку и... в комнату вошла Инга. Кукарача с облегчением вздохнул.

— Здравствуйте, Инга! — опередил он девушку.

— Здравствуй, Кукарача! — ответила она и села, не ожидая приглашения.

— Признаться, я уже не надеялся, что ты придешь.

Инга рассмеялась.

— Я пришла ровно в девять!

— Почему же ты не вошла?

— Потому, что я женщина, а у женщин принято так: она приходит на свидание до назначенного времени, прячется где-нибудь в укромном месте и наблюдает за ним. И появляется лишь тогда, когда почувствует, что у него лопнула нить терпения... Я стояла за ивой и наблюдала за тобой через окно. И вот, появилась тогда, когда ты уже собрался уходить. Вот и все! — закончила Инга со смехом.

— Быть может, все это очень остроумно и весело, когда дело касается любви, — сказал Кукарача.

Инга смутилась.

— Зачем ты вызвал меня? — спросила она холодно и положила свою сумку перед Кукарачей.

— С чего начать? С двух танков или... — Кукарача отложил сумку в сторону.

— О твоих танках знает весь город. Начни с дела! — ответила Инга, убрала сумку со стола и положила ее себе на колени.

Кукарача достал заявление соседей Инги, отогнул конец листа с подписями, оторвал его, спрятал в ящик и протянул заявление Инге.

— Вот. Прочти, пожалуйста!

Кукарача не сводил глаз с девушки. Она сперва заерзала на стуле, затем лицо ее пошло красными пятнами, руки задрожали, глаза наполнились слезами. Вдруг она разорвала заявление пополам и бросила куски на стол.

— Документы рвать нельзя, Инга!

— Извиняюсь,— Инга проглотила слезы,— я знаю, это сочинение Каламанишвили!

Кукарача вздрогнул от удивления: Инга назвала фамилию, подписанную красным карандашом!

— Под заявлением много подписей. Почему ты думаешь, что писал именно Каламанишвили?

— Не он, а она! Каламанишвили — старая проститутка, развратница! Она отжила свой век, никому уже не нужна, вот и лопается от зависти ко мне...

— В чем же тебе завидовать? Ты кто? Любовница вора, подонка, морфиниста! — прервал Ингу Кукарача.

Инга на минуту лишилась речи.

— Этот человек...— заговорила она наконец и встала, уронив при этом сумку,— этот человек, каким бы он ни был,— мой муж... А у Каламанишвили ни мужа, ни любовника, ни друзей, ни врагов... Она, эта красивая когда-то женщина, сейчас одна на всем свете, одинока... Вот почему она завидует мне... Тебе не понять этого, ты — мужчина, к тому же милиционер... А что касается похабщины, о которой говорится в заявлении, ее я только и слышала, что в притоне этой старой ведьмы. Это у нее собирались воры и картежники со всего города... Муртало ни разу не приходил ко мне пьяным и ни разу никого с собой не приводил. Он любит меня и не позволит себе ничего оскорбительного!..— Ингу подвели нервы, губы у нее побледнели и задергались. Она как подкошенная упала на стул.

— Когда же он бывает дома? — спросил Кукарача.

Инга подозрительно сощурилась:

— Он не говорит об этом заранее.

— Конечно, бандитская повадка...

— Назови человека в городе, у кого он украл или отнял хоть копейку!

— Знаю... В нашей картотеке сказано все о твоём святом супруге: опасный рецидивист, в Грузии не промышляет, имеет четыре судимости, в том числе две — за убийство, и не расстреляли его лишь потому,

что ухлопал подонков вроде себя. Вот кто он есть, твой ангел!

— Плевала я на вашу картотеку! А мог бы ты преподносить своей возлюбленной каждый день по корзине красных роз?!

— Почему бы и нет? Даром, что ли, наш квартал называется Вардисубани?<sup>1</sup> — пошутил Кукарача.

— И зимой?

— Зимой вряд ли, — признался Кукарача.

— То-то! А Муртало мог... — заметила Инга не без злорадства. — Мог бы ты посылать женщине тысячу рублей ежемесячно?

— Откуда? У меня вся зарплата — восемьсот рублей! — воскликнул Кукарача.

— А Муртало мог!.. Можешь ли ты явиться хоть с того света, чтобы поздравить любимую женщину с Новым годом и днем рождения? Не можешь! А Муртало может! — Инга говорила, все более волнуясь, не отдавая себе отчета, и Кукарача подумал: «Вот и проговорилась, дуручка!» — Можешь ли ты отвалить от меня всех мужчин квартала, сделать меня недостижимой, чуть ли не королевой? Не можешь! А Муртало может, потому что он никого на свете не боится — ни тебя, ни твоей милиции, а ты боишься его! — Инга была на грани истерики.

— Ладно, успокойся! — произнес тихо Кукарача и добавил: — Запомни: не родился еще человек, которого бы я испугался!

— Серьезно?

— Вполне!

— Допустим. И хватит об этом!.. Что тебе нужно от меня?

— Ничего. Напиши расписку, что указанные в заявлении факты впредь не повторятся...

— Как они могут повториться, если их и не было?!

— Тогда напиши, что заявление не соответствует действительности, что все это — выдумка, клевета, — предложил Кукарача.

---

<sup>1</sup> Дословно: квартал роз (*груз.*).



Инга написала.

— Все? Могу идти? — спросила она.

— Пожалуйста! — ответил Кукарача и, не выдержав, тут же спросил: — Скажи мне, только искренне: ты действительно любишь эту мразь или боишься его?

Инга задумалась, потом спросила:

— А ты знаешь, Кукарача, что такое любовь?

Кукарача кивнул головой.

— Скажи!

— Талант любви — самое драгоценное из всех сокровищ, дарованных богом человеку... И несчастен человек, ушедший из жизни без любви...

— Кто тебя научил этому, Кукарача? — прошептала Инга.

— Анна Ивановна...

— Кто это?

— Есть такая женщина...

— И ты испытал этот талант?

— Пока нет... А ты?

Инга не ответила. Она встала, повернулась и ушла, не попрощавшись...

Кукарача с минуту прислушивался к ее удалявшимся шагам в коридоре, потом взял разорванное заявление, достал из ящика стола оторванный его край, склеил куски гуммиарабиком, снова спрятал лист, встал, подошел к окну и распахнул его, чтобы проветрить комнату. Распахнул, да так и застыл у окна: за ивой стояла Инга и смотрела на него...

### Народному комиссару внутренних дел Грузинской ССР

Прошу довести до сведения всех органов милиции республики: в ночь с 8 на 9 марта в г. Таганроге ограблен ювелирный магазин. Похищены драгоценности стоимостью 456.325 руб. 40 коп. Установлено: один из скрывшихся участников грабежа — грузин, по кличке «Муртало» (фамилия неизвестна). Объявлен всесоюз-

ный розыск. Приметы: среднего роста, коренастый, верхняя губа рассечена, два передних зуба — золотых.

Начальник Уголовного розыска  
Наркомвнудела СССР.

11 марта 1940 г.

Кукарача, как и все сотрудники милиции, получил копию этой радиограммы, хотя к участию в операции его не привлекали. Подобные дела в районе обычно возглавлял и «проворачивал» лично Сабашвили. Но эта радиограмма и начальству и подчиненным показала несколько наивной. «Муртало не та птичка, чтобы после содеянного в чужом городе прилететь в Тбилиси, снести яйца в собственном гнезде и ждать спокойно, пока за ним пожалует милиция!» — так думали все.

Кроме Кукарачи.

В час ночи девятнадцатого апреля Кукарача вошел в комнату Инги и стал в дверях с наганом в руке.

За столом сидели двое — Муртало и Инга. Нераскупоренная бутылка шампанского застыла в руке Муртало. Он взглянул сперва на Ингу, потом на Кукарачу и опустил руку с шампанским.

— Не двигаться! — приказал Кукарача. Он, конечно, понял, что оружие у Муртало в правом кармане, и потому ему нужно освободить правую руку.

— Подними бутылку выше!

Муртало повиновался.

Грянул наган Кукарачи, и из отбитого горлышка бутылки брызнуло шампанское. Кукарача переложил наган в левую руку, подошел сзади к стулу, на котором сидел Муртало, указательным пальцем поднял висевший на спинке стула пиджак и, не почувствовав в нем тяжести, повесил на место.

— Встать!

Муртало встал.

Кукарача молниеносным движением извлек из правого кармана его брюк пистолет и положил се-

бе в карман. Потом сел к столу и поставил себе бокал.

— Можешь налить.

Муртало разлил шампанское и спросил с горькой усмешкой:

— Сесть можно?

— Конечно. Но тебе придется так долго сидеть, что на твоём месте я предпочел бы постоять...

— Шутишь? Это хорошо, когда шутит милиционер! — Муртало сел.

— Я — Кукарача.

— Знаю. Почему ты не вошел через окно?

— Чтобы ты не ушел через дверь.

— Как ты догадался, что дверь не заперта?

— Устарели твои методы, Муртало, на эту приманку мы сейчас не клеем!

— Хорошо стреляешь!

— Из нагана — пять в десятку, ножом — три в десятку, два в девятку. Интересуешься расстоянием?

Муртало поморщился.

— Что тебе нужно, зачем пришел? Знаешь ведь, в Грузии я не работаю, местные власти не беспокою... А из-за дуры<sup>1</sup> подводить меня под срок не стоит. Не к лицу Муртало сидеть за ношение оружия. И потом... Не угрожаю, но ты знаешь: тюрьма имеет не только вход... — Муртало потянулся к пиджаку.

— Не надо, Муртало! — предупредил Кукарача и взвел курок нагана.

— Папиросы! — огрызнулся Муртало.

— Папиросы можно...

Муртало закурил.

— Ну, за что же выпьем? — полувсерьез, полушутя спросил Кукарача.

— За милицию! — осклабился Муртало.

— За милицию! — Кукарача осушил бокал. Никто его не поддержал.

— Говоришь, не стоит брать тебя из-за дуры? — обратился он к Муртало.

— Ей-богу, не стоит, Кукарача! — ответил тот многозначительно.

---

<sup>1</sup> Д у р а — пистолет (воровской жаргон).



Кукарача помолчал, потом взглянул на Ингу, которая до сих пор не промолвила ни слова.

— Будьте любезны, мадам,— сказал он,— снимите серьги и кольцо... Бриллиантовые серьги и бриллиантовое кольцо... Снимите и положите на стол...

Инга зарделась.

— Загибаеться, Кукарача! — Муртало осуждающе покачал головой. — Не стоит того мое дело! Отстань от женщины, возьми бабки!<sup>1</sup>

Кукарача пропустил слова Муртало мимо ушей и, в свою очередь, словно между прочим, спросил:

— Кстати, куда ты дел остальное добро, взятое в ювелирном магазине в Таганроге?

Муртало собрался было ответить, даже рот раскрыл, но передумал. Минут пять длилось молчание. Муртало снова закурил, несколько раз затянулся, и вдруг — Кукарача не успел даже опомниться, — перегнувшись к Инге, ткнул ее в лицо папироской. Инга вскрикнула, откинула голову назад, и Кукарача ужаснулся, увидев под ее левым глазом безобразный кровотокающий ожог.

— Продала, сука?! — прошипел Муртало, и тут же сильнейший удар Кукарачи опрокинул его навзничь. Кукарача связал ему руки, потом подошел к Инге.

— Как я прозевал! — проговорил он с сожалением.

Инга достала из шкафа какой-то пластырь, приложила к ране, а Кукарача схватил за шиворот пришедшего в себя Муртало, встряхнул его, поставил на ноги и с презрением, словно плюнул, сказал:

— Гниль ты, а не человек! Твой крестный не ошибся!

Муртало затравленным волком взглянул на лейтенанта и процедил сквозь зубы:

— Припомнится тебе все, Кукарача... Кровью отольется... Не будь я Муртало!..

— Ладно, пока что моя очередь! Шагай! — И он подтолкнул Муртало к двери.

---

<sup>1</sup> Б а б к и — деньги (воровской жаргон).

И тут случилось то, чего Кукарача не мог не то что ожидать, но даже представить себе: Инга сорвалась с места и упала перед ним на колени.

— Не губи меня, Кукарача!.. Кто мне поверит, что не я выдала его милиции?! Умоляю тебя!..— Она припала горячими губами к руке лейтенанта.— Отпусти его!.. Будь мужчиной! Сжался надо мной! Отпусти его, если не хочешь увидеть меня с перерезанным горлом!

— Да ты что?! Из-за кого ты унижаешься? Из-за этого подонка? Встань сейчас же!

— Нет, Кукарача! Ты не знаешь их законов! Убьют, зарежут меня! Заклинаю тебя матерью, отпусти его! Пусть уйдет из моего дома невредимым!

— Инга, о чем ты говоришь?! Я ведь не личное, я государственное дело выполняю! Как же я могу отпустить его?!

— Покончу с собой, Кукарача! Клянусь!

Кукарача понял, что Инга сейчас способна на все. Он не был железным, он был обыкновенным человеком — лейтенант милиции Георгий Тушурашвили. И человек не устоял перед горем человека. Он достал нож и разрезал узел на руках Муртало.

— Иди! — сказал Кукарача.

Муртало не сдвинулся с места.

— Иди! — повторила Инга.

Муртало пошел к двери.

— В окно! — сказал Кукарача.

Муртало вернулся и перелез через окно. Спустя несколько минут Кукарача выстрелил в окно. Распластанная на полу Инга подползла к Кукараче и, рыдая, обняла его за ноги.

— Встань!

— Что же теперь с тобой будет?!

— Ничего, авось обойдется...

Кукарача поднял Ингу, положил наган в карман и ушел, прикрыв за собой дверь.

Огни вокруг в окнах были погашены. Но Кукарача чувствовал, как в него, словно раскаленные стрелы, впивались любопытные, испуганные взоры соседей...

Кабинет Сабашвили был заперт изнутри. Кукарача понутив голову сидел на стуле. Давид, как зверь в клетке, бегал по комнате, ломая руки, натыкаясь на стены. Временами он останавливался перед лейтенантом и рычал:

— Ты что думал? Муртало — фраер вроде твоих квартальных сопляков?!. На бандюгу объявлен все-союзный розыск, а этот кретин Шерлок Холмс прет один на операцию!.. Как ты назвал операцию? «Инга и Кукарача»?! «Кукарача из Ваке»?! — Давид схватил графин с водой и почти опорожнил его. — Ты понимаешь, что это пахнет трибуналом?!. Как ты смел скрыть от меня?!

— Да что я скрыл? Откуда я знал? Пришел к женщине на день рождения, а застал там незнакомца... — пробормотал Кукарача.

— Какого еще незнакомца?!. Кого ты обманываешь?!. И чего тебя понесло к ней в час ночи?!

— Когда освободился, тогда и пошел...

— Зачем? Кто она тебе — друг?!. Племянница?!. Или ты совсем из ума выжил? Крутишь любовь с проституткой?!

— Это моя обязанность... — ответил спокойно Кукарача.

— Что — твоя обязанность?!. — обезумел Сабашвили.

— Моя обязанность морально воздействовать...

— Замолчи, иначе прихлопну тебя и себя тоже!.. Впрочем, кому я предъявляю векселя! Сам во всем виноват! Разве тебе место в милиции? Мозги у тебя набекрень! Тебе бы заведовать детским садом!..

— Объяснил же тебе: случайно я нарвался на него, ну и сумел он уйти...

— А два выстрела?!

— Ну... Стрелял я, промахнулся...

— Когда стрелял?!. Спустил час?!

— Ну, убей меня! Ушел, сбежал, сволочь! Что же мне теперь делать? Ну, застрелюсь я перед тобой, хочешь?..

Давид сел к столу, схватился за голову, долго молчал. Потом положил перед Кукарачей лист бумаги и ручку.



— Пиши... Озаглавь, как хочешь,— заявлением, просьбой, рапортом... Напиши, что не хочешь работать в милиции и просишь освободить...

Время шло, а Кукарача даже не дотронулся до ручки. Сабашвили понял, что в душе лейтенанта происходит борьба, страшная, сложная борьба. Он взял себя в руки, постарался унять нервное возбуждение и тихо спросил:

— Что с тобой, Георгий?

— Давид, ты знаешь — я могу и заявление написать и уйти из милиции... Меня страшит другое... Я боюсь потерять тебя, потерять уважение к самому себе... Поэтому прошу — не гони меня сейчас... Дай возможность исправить свою ошибку... Я сумею искупить вину, хотя бы ценой собственной жизни...

Сабашвили взял трубку внутреннего телефона.

— Габо, зайди, пожалуйста, на минутку...

— Что ты собираешься делать? — спросил Кукарача.

— Собираюсь охладить тебя.

— Надолго?

— Пока не поумнеешь.

— Значит, вечное заключение? — горько улыбнулся Кукарача. — А я вот что тебе скажу: лично я считаю, что возвращение Инги к праведной жизни во сто крат важнее, чем поимка этого подонка Муртало...

— Что?! — побледнел Давид. — Значит, ты отпустил его?!

— О, господи! Сказал ведь тебе — ушел он, сбежал!

Давид собирался сказать что-то, но в это время в кабинет вошел его заместитель Габо.

— Привет!

Никто ему не ответил. Габо быстро смекнул, что происходит что-то необычное, и прикусил язык.

— Отбери у него оружие и посади в карцер! — распорядился Давид.

— Карцер занят.

- Кто там?
- Мтацминдский <sup>1</sup> Апо, вор.
- Никаких Апо! Немедленно освободить карцер!
- А куда я дену Апо?
- Куда хочешь! Отпусти!
- Как?!
- В чем он провинился?
- Избил буфетчика.
- За что?
- Обсчитал его сверх меры...
- Ну и поделом ему... Отпусти!
- Куда?
- Вы что, оглохли, капитан? Говорят вам: гоните к черту этого Апо и посадите в карцер Георгия Тушурашвили, Кукарачу. Понятно?
- Есть, товарищ майор! — вытянулся Габо.
- Вот так. Действуйте!
- Сабашвили вышел из кабинета.

С того дня в жизни Кукарачи что-то изменилось, он как-то преобразился. Одни говорили, что лейтенанту сильно повезло, другие, наоборот, считали, что судьба изменила Кукарачу; одни доказывали, что их участковый приобрел ангельский характер, другие, наоборот, обвиняли его в связях с самим сатаной. Одним словом, от Земмеля <sup>2</sup> до Сельхозинститута и от Вэре до Мтацминда имя Кукарачи склонялось на все лады.

- Вчера Кукарачу видели в аптеке...
- Что-то зачастил он на Кобулетский подъем...
- А Инга-то... Ломит из себя святую, словно не она, а я ходила в любовницах Муртало...
- Чует мое сердце, выпустит Муртало из них кишки...
- Одеваться-то стала хуже... Но лицо... Лицо у нее так и сияет от счастья...

---

<sup>1</sup> Мтацминда — название горы и квартала в Тбилиси.

<sup>2</sup> Земмель — так тбилисцы по сей день называют место где когда-то находилась частная аптека Земмеля.

— Ну, вряд ли она откажется от старого...

— А Кукарача каждый день в шесть утра уходит от нее...

— Может, они расписались?

— Ну, ты скажешь!..

Так или иначе, имена Инги и Кукарачи слились воедино...

Мы возвращались от тети Анисо, подруги детства мамы. Раньше, до переезда на новое место, мы жили в одном доме, на Анастасьевской улице. Теперь не проходило недели, чтобы мама и тетя Анисо не навестили друг друга. Старые друзья болтали весь день не переставая, а я и сын тети Анисо — мой ровесник Зураб — гоняли мяч во дворе.

Итак, мы возвращались домой... Я рассказывал маме, как мы с Дуду с закрытыми глазами прошли по перекинутой через овраг Варазисхеви водопроводной трубе. Мама слушала, слушала и вдруг громко расхохоталась:

— А, знаешь, почему ты такой лгунишка?

— Почему? — искренне заинтересовался я, так как знал за собой такой грех — иногда я любил сочинять несусветную чушь.

— Когда появился ты, я была студенткой, присматривать за тобой дома было некому, и я оставляла тебя на попечении Анисо. А она, негодяйка, чтобы ты не орал, давала тебе пустую грудь. Ну а все, кто в детстве сосали пустую грудь, вырастают лгунишками. Понял?

Мы хохотали оба.

У Верийского базара мы встретили Кукарачу. С ним была красивая молодая женщина в простеньком платье. Я сразу узнал Ингу.

— Здравствуйте, Анна Ивановна! — поздоровался Кукарача с изысканной вежливостью.

— Кукарача, дорогой, здравствуй! — обрадовалась мама. — Куда ты исчез? Как ты поживаешь?



— Ничего, спасибо. Как вы? Тамаз не обижает вас? Если что — дайте мне знать, я шкуру с него спущу... — Кукарача погладил меня по голове.

— Нет, что ты, твои лекции пошли ему впрок. Вот только обманывает меня иногда.

— Что ж, Анна Ивановна, иногда все мы обманываем друг друга, — оправдал меня Кукарача и взглянул на стоявшую в стороне и неловко улыбающуюся Ингу.

— Знакомьтесь, Анна Ивановна, это — мой друг, Инга Лалиашвили.

— Ах, вот она какая, Инга? Чудная девочка! — Мама протянула руку. Смущенная Инга ответила слабым пожатием.

— А вы откуда ее знаете? — спросил удивленный Кукарача.

— Ну, милый мой, сейчас весь мир только и говорит, что о тебе и Инге! — ответила мама со смехом.

Инга густо покраснела.

— А вы тогда были правы, Анна Ивановна, ох, как правы... — сказал Кукарача.

— Когда, Кукарача?

— Когда сказали мне, помните: «Из всех сокровищ, дарованных богом человеку, самое драгоценное — талант любви».

— А-а, — вспомнила мама.

— Спасибо вам, Анна Ивановна!

— Я-то при чем?

— И все же вам спасибо!

— Не за что, Кукарача...

— Ну, так до свидания!

— Дай бог вам здоровья!

Кукарача и Инга ушли. Мама проводила их взглядом.

— Красивая девушка! — сказала мама.

— Очень! — подтвердил я.

— Тоже мне знаток! — Мама легонько шлепнула меня по затылку. Потом потерла правую ладонь и проговорила про себя:

— Какая у нее теплая и приятная рука...

Прошло с того дня несколько месяцев. И вот однажды во двор тети Марты ворвался бледный, как

полотно, Зевера, замахал руками и испустил душе-раздирающий вопль:

— Кукарачу убили!

...Спустя десять минут весь наш квартал собрался у дома Инги.

Санитары и двое милиционеров вынесли на носилках Кукарачу. Он был без сознания. Из простреленной в двух местах груди Кукарачи еще сочилась кровь...

— Инга,— проговорил он,— кругом туман... розовый туман... Я не вижу тебя... Ух, Муртало, подло ты пришел меня, сволочь грязная...— Кукарача с сожалением покачал головой, потом поднял глаза на Ингу и протянул руку к ее лицу. Рука на миг застыла в воздухе и упала, словно отрубленная.

Без единого стоны, без единого слова,— с улыбкой на лице, красиво умер Кукарача — лейтенант милиции Георгий Тушурашвили.

Давид чуть прикоснулся к Инге рукой. Девушка взглянула на него мутными глазами.

— Куда он ушел? В какую сторону?

Инга показала на Удзо<sup>1</sup>.

Давид молча протиснулся сквозь толпу и пошел по ведущей к Удзо дороге, как овчарка по волчьему следу.

Утром из Бетаниа<sup>2</sup> Давид привез на коне изувеченного, со связанными руками Муртало и бросил его во дворе милиции. Муртало был жив.

Спустя ровно месяц в народном суде, что около круглого садика, начался процесс. Желающих попасть на него не мог вместить не только крохотный зал, но и садик. Каждое слово, произнесенное на суде, передавалось из уст в уста.

Мама на процесс не ходила, я же не пропустил ни одного заседания. Мама подробно расспрашивала меня.

---

<sup>1</sup> Удзо — гора в окрестностях Тбилиси.

<sup>2</sup> Бетаниа — храм неподалеку от Тбилиси.

В судебной практике такое, наверное, случается редко — суду с большим трудом удалось найти защитника для обвиняемого. Ни один тбилисский адвокат не хотел браться за защиту Муртало: людское негодование оказалось сильнее всех посулов и даже угроз дружков убийцы.

Судебное разбирательство длилось три дня — с утра до позднего вечера, с небольшими перерывами. Было опрошено много свидетелей, и еще больше предъявлено обвинений Муртало.

На утреннее заседание третьего дня по просьбе Давида впервые пришла Инга. Пришла красивая и строгая, как амазонка, в глубоком трауре, с белым, как полотно, лицом. Она вошла в зал вместе с Давидом и стала перед судьей и заседателями, даже не взглянув на остриженного Муртало, сидевшего за барьером между двумя милиционерами.

После обычной предварительной процедуры начался допрос.

Судья. Расскажите суду, что вам известно по делу.

Инга. Кукарача пришел домой в полдень...

Судья. Вы имеете в виду Георгия Тушурашвили?

Инга. Я буду называть его Кукарачей.

Судья. Пожалуйста... Скажите, почему Кукарача пришел именно к вам?

Инга. Он был моим мужем.

Судья. А кем был для вас обвиняемый?

Инга (*после продолжительного молчания*). Муртало?

Судья. Шалва Фридонович Хизанишвили.

Инга. Я не знаю такого человека.

Судья. Он сидит слева от вас, на скамье подсудимых.

Инга. Этого подонка зовут Муртало.

Судья. Кем же он доводится вам?

Инга. Он был моим любовником, пока... (*Шум в зале.*) Пока я не познакомилась с Кукарачей.

Судья. Насколько суду известно, вы не состояли в официальном браке с Тушурашвили.

Инга (*упрямо*). Он был моим мужем!



Судья. Каковы, по-вашему, мотивы преступления, совершенного в отношении пострадавшего?

Инга. Кукарача — не пострадавший, он убит. *(Шум в зале.)*

Судья *(смущенно)*. Продолжайте...

Инга. Кукарача спал. Вдруг в комнату вошел Муртало с наганом в руке. Я закричала от испуга и неожиданности, хотя и знала, что рано или поздно развязка должна наступить. Кукарача вскочил и бросился к оружию, но было поздно. Его револьвер был уже у Муртало... *(Инга умолкла.)*

Судья. Продолжайте, пожалуйста.

Инга. Кукарача спал раздетым и, проснувшись, тотчас потянулся к одежде. «Не беспокойся, можешь беседовать со мной в майке!» — разрешил Муртало.

— Зачем ты пришел? — спросил Кукарача.

— Ты спрашиваешь меня? — удивился Муртало.

— Я и Инга любим друг друга!

— Не может быть! И сильно?

— Муртало, положи оружие и уходи!

— Оба? Или только твое?

— Оба!

— А нет ли у тебя наручников? Заодно надену и пойду с тобой в милицию.

— Ты так и поступил бы, если б котелок у тебя варил... — Кукарача взял брюки.

— Предупреждаю, встанешь — получишь пулю!

— Не посмеешь! Убьешь меня — не миновать тебе расстрела!

— Дудки! Уголовный кодекс я знаю как аллилуйю. Я убью тебя на почве ревности и заработаю пять, от силы — восемь лет. Красная цена за твою шлюху.

— Убей и меня! — попросила Инга.

— Нет, милая! Смерть для тебя блаженство, для него — мучение. Ты должна жить долго, долго, пока не сгниешь!

— Поделом мне! — сказал Кукарача.

— Вот именно! Сорвалось у тебя! И знаешь, почему? Потому, что фраер ты, не профессионал, и купила тебя эта шлюха!

Судья. Почему Кукарача сказал «поделом мне»? И что имел в виду обвиняемый, сказав «сорвалось у тебя»?

Инга. Дело в том, что год тому назад Кукарача схватил этого подлеца в моем доме и отпустил его по моей просьбе...

Судья (*привстал*). Что? Схватил и отпустил?

Инга. Да. Вы не знали Кукарачу... Он был добр, чист и безгрешен...

Судья. Продолжайте.

Инга. Продолжать нечего.

— Помнишь, говорил я, что припомнится тебе все? — Муртало взвел оба курка.

— Не стреляй, Муртало! — сказал Кукарача спокойно, как бы с сожалением.

Судья. Потом?

Инга. Потом Муртало приблизился к кровати...

Инга сделала несколько шагов к барьеру, за которым сидел Муртало, расстегнула жакет, выхватила наган и, пока милиционеры опомнились, навела его на Муртало и спустила курок.

Муртало вскочил, закрыл лицо руками и повалился на пол. При каждом выстреле он дико выл. В зале поднялся невообразимый шум.

Семь раз грохнул Ингин наган. Потом в зале воцарилась тишина.

Инга бросила револьвер, опустилась на пол, уткнулась головой в колени и зарыдала.

Я вернулся домой к обеду. Мама налила мне суп, сама села к столу и приготовилась слушать. Я молчал и к супу не притронулся. Тогда она убрала тарелку и

поставила передо мной мои любимые холодные котлеты с белым хлебом. Когда я отказался и от котлет, мама забеспокоилась.

— Что с тобой, мальчик, ты заболел? — Она потрогала мой лоб.

— Сегодня допрашивали Ингу.

— Что же она сказала, несчастная?

— Ппустила в Муртало семь пуль!

— Как?!

— Так. Из нагана.

— Да ты что?! В зале суда? Семь выстрелов?! —

Мама не верила своим ушам.

— В зале суда.

— И ты видел это?

— Видел.

Мама встала, снова села.

— Потом?

— И промахнулась.

— Семь раз?

— Семь раз.

— Невероятно! — прошептала мама и вышла на кухню. Вскоре я последовал за ней. Мама сидела у окна, смотрела на белый купол университета и курила. Я опустился на пол перед ней и положил голову на ее колени. Долго молчали мы... Потом я почувствовал ласковое прикосновение теплой маминой руки. Она нежно гладила меня по голове. Я взглянул на маму. По ее щекам катились слезы, и подбородок дрожал.

— Промахнулась, говоришь? — спросила она.

Я кивнул головой. Я понял, что маме хочется заплакать навзрыд, но усилием воли она сдерживала себя, — она умела владеть собой, моя гордая мама.

Я почувствовал горький комок в горле, зарылся головой в мамины колени и заплакал — сперва тихо, про себя, потом громко. Мама не успокаивала меня, лишь рука ее по-прежнему гладила мою голову. Я плакал и за нее...

Это произошло 21 июня 1941 года. А на другой день об этом уже забылось. 22 июня народ был оше-



ломлен страшной вестью — на нашу страну напала фашистская Германия.

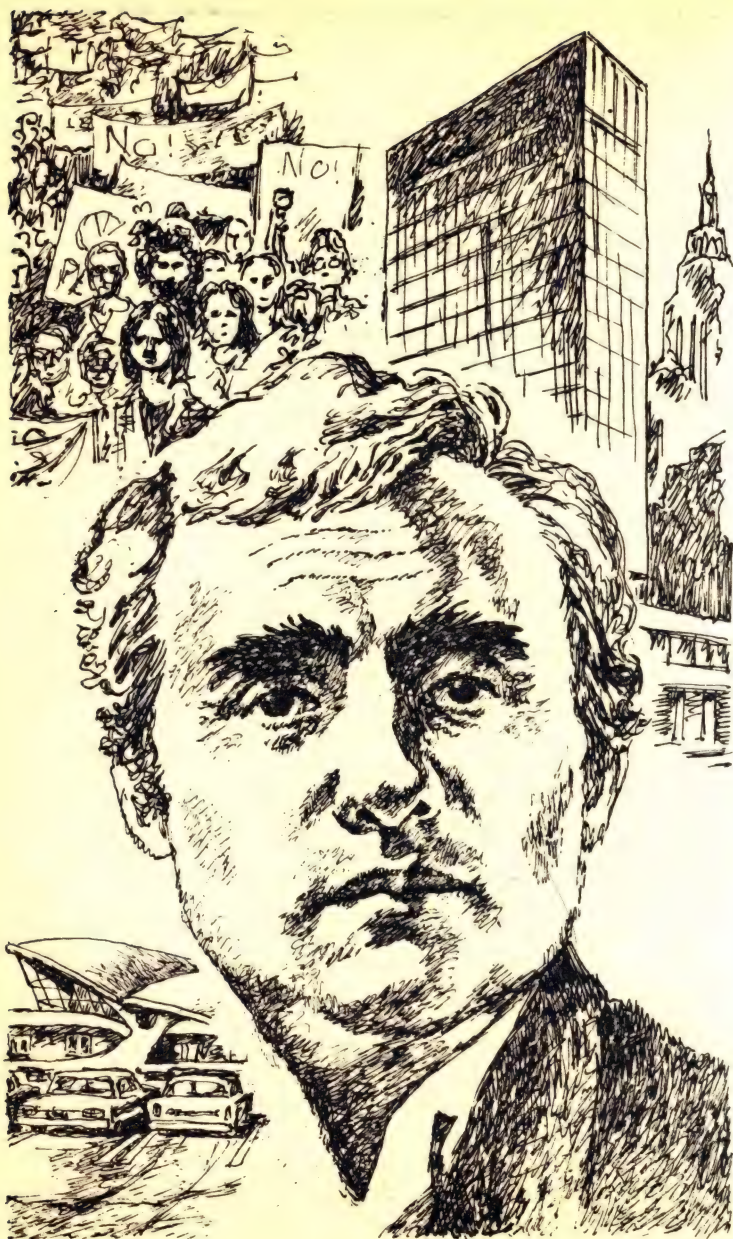
Лишь однажды в 1943 году тетя Марта вспомнила Кукарачу и Ингу и всплакнула — когда в военкомат пришло сообщение с фронта о гибели медсестры Инги Амирановны Лалиашвили.

И я вспомнил Кукарачу, вернее, он приснился мне — 12 октября 1979 года, в 12 часов ночи, за полчаса до моего второго инфаркта. И вот что странно: во сне Кукараче по-прежнему было двадцать один или двадцать два года, мне — за пятьдесят, а он по-прежнему поучал и наставлял меня...



# ПУБЛИЦИСТИКА







## ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ

В детстве цыганка гадала мне по руке:

— Большой мальчик вырастешь, в Америку поедешь...

Теперь, спустя много лет, на контрольном пункте нью-йоркского аэропорта вежливая девушка-мулатка напомнила мне ту цыганку и, возвращая паспорт, улыбнулась. Я показал девушке-мулатке оттопыренный большой палец — хороша, мол, — и прибавил по-английски:

— О'кей!

— Спасибо! — со смехом ответила она и распахнула передо мною врата Америки.

Беда Америки в том, что каждый, кто попадает туда, считает себя ее открывателем. К счастью для вас и для себя, я застал ее уже открытой.

Что, собственно, понадобилось мне в Соединенных Штатах Америки?

В 1977 году американские писатели гостили в Советском Союзе и вели со своими советскими коллегами диалог на тему «Современный роман и роль писателя в сегодняшнем мире».

24 апреля 1978 года советские писатели прибыли в Америку с ответным визитом для продолжения диалога.

В нашу делегацию вошли Григорий Бакланов, Сергей Залыгин, Ясен Засурский, Изабелла Зорина, Валентин Катаев, Александр Косоруков, Феликс Кузнецов, Фрида Лурье, Миколас Слуцкис, Николай Федоренко и я.

Нас встречали Джон Апдайк, Курт Воннегут, Вера Данхем, Артур Миллер, Эдвард Олби, Джойс Кэррол

Оутс, Уильям Джей Смит, Харрисон Солсбери, Уильям Стайрон, Элизабет Хърдуик, Лео Грулио.

Если американцы что-то возводят в культ и почитают, так это — время. Время является основой всего того, что мне понравилось и не понравилось в этой стране.

Нам дали отдохнуть всего один день. 26 апреля в 9 часов утра в здании Нью-йоркской Академии искусств началась конференция. На заседании поочередно председательствовали — редактор журнала «Саттердей ревю» Норман Казинс и глава нашей делегации, редактор журнала «Иностранная литература» Николай Федоренко.

Наш диалог продолжался три дня и удивительно походил на игру в покер. Внешне все мы были поразительно вежливы, корректны, сдержанны, любезны, однако под этой оболочкой все напоминало динамит, готовый вот-вот взорваться, но благодаря выдержке наших многоопытных председателей взрыва не произошло. Хотя однажды небольшой вспышки все-таки избежать не удалось.

В своем выступлении Артур Миллер дал оценку современной советской литературе почему-то по стереотипу 20—30-х годов, тем самым заслужив упреки М. Слущикса и Н. Федоренко. Артур Миллер, разумеется, понял неловкость создавшейся ситуации и всю вину свалил на переводчика; переводчик же, дай бог ему здоровья, оказался на редкость благородным человеком и без колебаний принял все на себя.

На том и порешили.

Между прочим, американские писатели о недостатках своей собственной литературы говорили куда больше, чем о нашей. Говорили резко и безапелляционно.

Человеку неопытному судить об американской свободе слова весьма нелегко. Она очень напоминает облаченную в пышные одежды средневековую испанскую даму, с которой, прежде чем разденешь ее, надо снять штук девять нижних юбок. Это очень стесняло нас, — какое там «стесняло»! — мы просто не знали, как быть. Зато знала госпожа Джойс Кэррол Оутс.

Одним умелым движением руки она сорвала все девять юбок с этой прелестной особы.

— Господа, в Америке свобода слова существует лишь для тех, у кого есть деньги,— сказала она, и сказанное ею ни в чьих комментариях не нуждалось.

Мне трудно сейчас пересказывать все выступления американских и советских писателей; наверное, в столь беглых заметках тому не время и не место. Материалы этой встречи, вероятно, будут опубликованы в американской и в нашей прессе, так что читатель сможет узнать все, вплоть до мельчайших подробностей. Да дело и не в этом — до записей ли мне было, когда я напряженно слушал... Впрочем, не могу не вспомнить выступление Валентина Катаева.

Поднялся этот «юноша» восьмидесяти одного года и произнес такую страстную речь, что от аплодисментов американцев потолок едва не обрушился нам на головы.

— Господа, я не знаю, что такое роман. Я пишу обо всем, что меня волнует, пишу то, что думаю, то, что чувствую. Для меня не имеют ни малейшего значения какие бы то ни было рамки и формы; я не знаю, почему Гоголь назвал «Мертвые души» поэмой, почему Пушкин окрестил «Евгения Онегина» романом и почему «Старик и море» Хемингуэя именуют рассказом. Кто из вас сможет сейчас встать и сказать мне, что такое роман?! — Он вопросительно оглядел зал. (Должен заметить, что никто не отозвался.) — Я недавно опубликовал в «Новом мире» произведение «Алмазный мой венец», это для меня и рассказ, и роман, и поэма, и эссе, и воспоминания, и мемуары, и письма, словом, все, что угодно...

Катаев, конечно, говорил красивее, убедительнее, изящнее. В своем выступлении он не упоминал никаких «измов», ни наших, ни чужих; все перечисленное выше он назвал великим чудом — внутренним горением и кипением искусства и, наконец, подытожил одним словом — «реализм».

После Катаева выступили многие американские писатели, причем далеко не все с ним соглашались, поэтому овации, недавно гремевшие в зале, были мне не совсем понятны...



Я уже говорил, что не собираюсь приводить здесь стенографический отчет, да если бы и собирался — для опубликования двадцатиминутных выступлений двадцати человек потребовалось бы не менее двадцати листов, поэтому, если позволите, я приведу лишь небольшие фрагменты из своего импровизированного выступления, чтобы читатель имел представление, вокруг чего шел разговор.

В своем выступлении я пошел по следам Катаева не потому, что боялся свернуть с проторенной тропинки, нет просто потому, что во многом был с ним согласен. Впрочем, надо сказать, эта тропка была уже порядком истоптана.

— Дамы и господа! — сказал я. — Так же, как и Катаев, я не знаю, что такое роман.

Министерство пищевой промышленности СССР недавно выпустило целую партию консервов под названием «Завтрак туриста».

Не будучи туристом, я все же решился попробовать эти консервы, правда, не на завтрак, а на ужин, и должен вам сказать, они мне очень понравились. У нас, в литературе, то же самое. Давайте писать хорошие произведения, а критики уж как-нибудь подыщут им жанр и определение. Предоставим это дело им...

...Мне думается, что современный роман всего более напоминает «пылесос», который с удивительной жадностью всасывает в себя все литературные жанры и «измы», необходимые ему для выражения своей собственной внутренней природы, сущности, страсти...

...Мне, грузинскому писателю, непонятно, как можно говорить о «смерти», «угасании» романа как литературного жанра; о бессмертии романа говорит хотя бы тот факт, что в этом году у нас отмечают 1500-летний юбилей первого грузинского романа — «Мученичество Шушаник».

...Тут мистер Норман Казинс с грустью заметил: люди, дескать, больше не прислушиваются к литературе и литература постепенно теряет свое влияние на людей; если это действительно так, то какой же смысл в нашей встрече...

...Илья Чавчавадзе, духовный пастырь моего народа, еще в XIX столетии завещал:

Пусть поэт — посланец неба,  
Но народ растит поэта.  
Я веду беседу с богом,  
Чтоб вести отчизну к свету!

(Перевод В. Шефнера)

Я думаю, что каждый из нас внутренне должен быть готов в нужную минуту заговорить от имени нации и народа. Разве не из ваших произведений я знаю Америку? Лично на меня американская литература оказала большое влияние. Помимо нашей национальной литературы, я вырос на книгах Бичер-Стоу, Марка Твена, Фолкнера, Уитмена, О'Генри, Хемингуэя, Колдуэлла, Сарояна и других...

То, что мне в американской литературе нравится, я воспринимаю, ну, а то, что не нравится, меня не заставят принять никакие «круглые столы» и диалоги...

...Что же касается личных контактов — то вот я сейчас сижу рядом с мистером Джоном Апдайком и ощущаю тепло его плеча. Это тепло, наверное, будет сопровождать меня и в Грузии, и хватит его надолго...

...Тут много говорят о том, что американская литература и искусство обращены на корнях европейской цивилизации. Это — факт бесспорный, однако нынешняя американская литература и искусство напоминают мне Одиссея, вернувшегося спустя двести лет к своей Пенелопе — Европе, только уже другого, женатого на не менее красивой женщине, окруженного бесчисленными чадами.

Утром, перед началом заседания, ко мне подошла восьмидесятилетняя дама — переводчица.

— Ваше вчерашнее выступление очень взволновало меня... Когда вы упомянули Илью Чавчавадзе и Шушаник, у меня прямо дух перехватило...

— Что же я сказал такого, сударыня?

— Семьдесят лет назад я жила в Кисловодске, в семье грузинского инженера Твалчрелидзе, мне тогда

было десять лет, и он меня учил грузинскому языку... В том же году наша семья эмигрировала, и с тех пор мне ни разу не доводилось слышать грузинскую речь... Прошлой ночью в памяти всплыла одна фраза, и я никак не могла уснуть. Не знаю, на каком она языке, может быть, вы мне подскажете?

— Извольте.

Она произнесла эту фразу на чистейшем грузинском языке. Меня пробрала дрожь.

— Скажите, мистер Думбадзе, по-грузински это или нет, и если да, то что это означает? — спросила она, устремив на меня глаза, полные ожидания.

— «Барышня, пожалуйста, прошу вас, разбудите меня в восемь часов утра», — перевел я.

— Боже мой, — произнесла старушка и, уткнувшись головой мне в плечо, тихо заплакала. Я тоже не мог удержать слез. Хорошо еще, что мы стояли на балконе и никто не мог нас видеть. Хотя что в этом предосудительного? Она, верно, плакала о своем детстве, а я — от какой-то неясной печали, смешанной с радостью.

Кое-кому кажется преувеличением, когда путешественник пишет — в первый же или во второй день путешествия, мол, в Париже вспомнил Тбилиси и захотелось плакать, но от факта никуда не уйдешь: родина есть родина, и тоска по ней встанет комком в горле как раз тогда, когда совсем этого не ожидаешь. Мы с той женщиной были застигнуты этим чувством на балконе Нью-йоркской Академии и не стыдились своих слез.

Как я уже говорил, конференция продолжалась три дня. Был создан комитет, которому вменялось в обязанность изучить пути улучшения двусторонней переводческой деятельности, а также выработать повестку для следующей встречи. На этом конференция свою работу завершила, и мы ринулись на встречу с Америкой.

Когда я вернулся из Академии искусств, произошла забавная история: в двенадцать часов ночи я сидел у цветного телевизора и смотрел, верно, сто пятидесятую серию «Тарзана». Вдруг зазвонил телефон. Я поднял трубку.



— Мистер Думбадзе? — спросила трубка.

— Да!

— Я американский журналист и хотел бы побеседовать с вами. Когда можно вас повидать?

— Когда угодно.

— Хочу вас заранее предупредить, что беседа у нас будет исключительно на политические темы.

— Можете говорить со мной на какие угодно темы, и очень вас прошу — не пугайте меня, — немного обиженно отвечал я.

— Ну, что вы... Я, между прочим, и грузинский знаю! — сказал он на великолепном грузинском.

— А где вы его изучили? — удивился я.

— В Икалтойской академии, — ответил он и засмеялся.

— Вот это да! — невольнó вырвалось у меня.

— Не хочу беспокоить вас своим приходом, поэтому, если вас не затруднит, спуститесь сами, я вас жду в фойе...

— Иду! — ответил я, повесил трубку и устремился в фойе.

По дороге я пожалел о своей поспешности, но любопытство меня подгоняло. Напряженный, готовый к политическим битвам, я выскакиваю из лифта и... В фойе, широко улыбаясь, меня встречает наш художник Зураб Церетели. Вздвигаясь, я отомстил ему тем, что потащил его в ночное кабаре и «расколол» на 48 долларов — сам я не заплатил ни цента.

На Бродвее я побывал трижды. Он достоин того восхищения, изумления и брани, с которыми о нем говорят. Сюда выплескивается все наивысшего ранга, — начиная с искусства и кончая проституцией. С 8 часов вечера до 3—4 часов ночи Бродвей кипит, поет, смеется, пляшет, плывет вверх-вниз, окутанный туманом тысячецветных реклам.

Гриша Бакланов и я идем по Бродвею, сплотившись в кулак, — мы представляем собой частицу маленького мирка; так же, как и другие, смело гоняем по мостовой пустые, звенящие консервные банки, не стесняясь, шуршим газетами, переполненными и пес-

трящими сплетнями всего мира, и почему-то держимся за руки, как воспитанники детского сада. Видим — в красивых мундирах, гарцуя на породистых конях, к нам приближаются двое полицейских. Мы невольно остановились и уставились на них. Вдруг из-за угла улицы высыпали 15—16-летние девушки в шортах и босиком. Шесть девушек. Они окружили полицейских, теребили лошадиные гривы, целовали красиво изогнутые шеи, поглаживая их руками. Полицейские спешились и завели разговор с девушками; чему-то громко смеялись и вместе с радостно пофыркивающими лошадьми с аппетитом поглощали сласти, которыми их потчевали девушки.

Внезапно девушки сгрудились и увлеченно запели. Полицейские поспешно вытянулись и по-военному отдали честь: девушки пели американский гимн.

Мы с Баклановым с удивлением глазели на это странное зрелище. Окончив пение, девушки, так же оживленно щебеча, умчались восвояси. А полицейские вскочили на своих скакунов и продолжали патрулирование по Бродвею. Я расхохотался.

— Чего ты? — удивленно спросил Гриша.

— Да я на минуточку представил себе, что было бы, если б на проспекте Руставели девушки остановили милиционера и спели ему «Мравалжамиер»<sup>1</sup>...

Видел я на Бродвее, как какой-то пьяный убил проститутку и как прохожие связали остервенелого убийцу и передали полиции.

Не скрою, посмотрел я и порнографический фильм, переходящий все границы человеческой нравственности, морали, совести. Честно говоря, больше пяти минут я не выдержал, а каждая минута, между прочим, стоила доллар, причем, если учесть, что из этих пяти минут я три минуты смотрел в пол, то убыток получается куда больше.

Не могу сказать, чтобы желание посмотреть такой фильм вызывало большой ажиотаж: в 300—400-местном кинозале сидело человек пятнадцать, в основном такие же туристы-иностранцы, как мы, ну, и старики. Двое или трое из них спали.

---

<sup>1</sup> «Мравалжамиер» — грузинская застольная песня.

Шофер такси, который вез нас из аэропорта Нового Орлеана в гостиницу, оказался таким же болтливым, охочим до сплетен и политики, как и все таксисты мира.

Узнав, кто мы такие, он полдороги ругал Картера за лояльное отношение к Фиделю Кастро. Когда он усмотрел за Картером такой грех, для меня до сих пор загадка.

— Ты что-то не похож на русского, кто же ты такой? — спросил он меня.

— Грузин, — ответил я.

— Ну и как к вам русские относятся?

— Отлично.

— Это как же понимать? — удивленно спросил он.

— Так и понимай, — сказал я.

Тогда он принялся расхваливать американскую демократию.

— В прошлом году Картеру вздумалось поселить в Белом доме свою матушку. В нашей конституции сказано: в Белом доме должны жить только члены семьи президента. Ну, мы взяли и выселили ее оттуда... сейчас она в гостинице живет...

Может, я и преувеличиваю, но в этом образцовом демократическом акте я усмотрел скорее элемент фашизма, нежели демократии.

Затем он начал расхваливать городские достопримечательности: это — самая большая эстакада в мире, это — самый красивый в мире аэродром, это — самая лучшая в мире гостиница.

И, наконец, истинное чудо архитектуры — Нью-орлеанский 85-тысячный крытый стадион.

Новый Орлеан, Миссисипи Марка Твена, Тома Сойера, Гекльберри Финна знают дети всего мира — разумеется, те дети, у которых было детство...

Этот город — наполовину европейский, наполовину американский, слегка приправленный восточным духом, раскинувшийся на берегу Мексиканского залива, похож на красавицу, распростертую на нагретом песке под палящими лучами солнца.

Он европейский по своей старинной архитектуре и парадности, американский — своею современной архитектурой, техникой, сексом, блюзом, смешанной



кровью и ритмом, и восточный — выставленными прямо на улицах лотками и шумом.

На Бурбон-стрит вход в заваленный бриллиантами, золотом, серебром и другими ювелирными изделиями магазин охраняют двое полицейских, вооруженных кольтами.

Посреди улицы стоит девушка и с изумительным мастерством играет на виолончели. Перед ней лежит дощечка с надписью: «Я студентка четвертого курса консерватории, у меня нет возможности платить за учебу...»

Чуть поодаль пожилой негр ногами отбивает по булыжной мостовой головокружительный ритм: ему тоже нужны деньги.

По улице, пританцовывая, шагает целый джаз. Город наполнен «Серенадой солнечной долины» — маленький мальчик, перевернувшись вниз головой, танцует на руках. Слепой, по бокам которого, как сфинксы, сидят два громадных пятнистых дога, виртуозно играет на аккордеоне...

Много, очень много денег нужно иметь, чтобы помочь всем. Того и гляди, увяжется за гобой какой-нибудь бородатый, светловолосый хиппи и будет вопить во всю глотку:

— Люди, уверуйте в Христа, люди, уверуйте в Христа!..

Одна прогулка по Бурбон-стрит обошлась мне в десять долларов. Не покрывив душой, не скажешь, что эти люди клянчат деньги с протянутой рукой. Каждый своим трудом, в меру собственных способностей и талантов добывает те гроши, которые бросают — преимущественно туристы — в их консервные банки и засаленные шапки.

В Новом Орлеане столько притонов и ночных кабаре, что по сравнению с ним и Нью-Йорк и Бродвей показались мне обителью добродетели.

Чтобы все это описать, нужны талант и смелость Боккаччо, а посему я от этого воздерживаюсь.

Не успел я ступить на Американский континент, как со мной произошли две неприятности, одна печальнее другой. Во-первых, я уронил карманные часы, и они так ударились об асфальт, что у меня

и мысли не возникло о какой-либо починке. Таким образом, в первую очередь я потерял в Америке время.

Во-вторых, из нагрудного кармана у меня выпали очки, и правая линза так треснула, что и тут ни о какой починке не могло быть и речи...

Устранение этих в общем-то пустяковых неприятностей, что у нас стоит два-три рубля, в Америке обходится в 75 долларов. Откровенно говоря, я не мог ухлопать столько денег и сказал нашему гиду и переводчику Майклу, который был искренне огорчен:

— Знаешь, Майкл, передай-ка своему госдепартаменту, который помогает Израилю и пускает деньги на ветер, что лучше бы мне починили очки, а то я ведь никогда не был высокого мнения об Америке, да тут еще приходится смотреть на нее одним глазом, это что же получится? — Майкл от души смеялся, но моим очкам от того лучше не стало.

Так что не удивляйтесь, если эти заметки покажутся вам несколько туманными и немного выпадающими из времени.

— Случись такое с кем-нибудь из ваших в Грузии, так не то что очки — мы бы вам телескоп купили, — добавил я.

В Новом Орлеане зашел я в магазин сорочек. В этом магазине продавались только штампованные сорочки, то есть сорочки с надписями. Надписи были самые разнообразные — шуточные, смешные, непристойные. На сей раз переводчика со мной не было, и я впервые ощутил все неудобства, которые испытывает человек, не знающий языка. Читать-то я читал надписи на рубашках, но что толку — прочитанное мне самому казалось полной тарабарщиной. В конце концов я выбрал одну пятидолларовую сорочку, на спине ее красовалась надпись, сделанная большими черными буквами. Я вычитал там: «Бурбонстрит» и «№ 522—7993», остальное не понял. Решив, что это, вероятно, адрес фирмы, я преспокойно ее купил. Три дня я шеголял в этой сорочке по улицам Нового Орлеана, и все три дня за мной по пятам со звонким смехом ходили дети. Оказывается, у меня на спине было написано следующее: «Преступник № 522 —

7993, бежал из Бурбонской тюрьмы, будьте осторожны».

Я был доволен популярностью, стоившей мне всего пять долларов, и потому носил эту рубашку не снимая.

Чувство юмора оказалось не только у детей, но и у полицейского: он, смеясь, остановил меня, достал из кармана наручники и потребовал документы. Я показал ему дипломатический паспорт и с обреченным видом протянул руки.

Полицейский долго вертел в руках паспорт, затем по-военному отдал честь и вернул его мне, что-то со смехом сказав переводчику.

— Вместе с извинениями он приносит вам свою благодарность, — перевел Майкл.

— А благодарность за что? — спросил я.

— Дело в том, что он впервые в жизни видит паспорт.

Еще одна занятная встреча с полицейским произошла у меня в Сент-Луисе. Он стоял у входа на завод Форда, представительный и красивый, как и все полицейские, знакомые нам по американским кинофильмам. На боку у него висел кольт. Как и все гурийцы, я равнодушен к оружию. Я подошел к нему и попросил — покажи, мол.

— Он что, того? — поинтересовался тот у переводчика.

— Да нет, он с Кавказа, они там любят оружие, ты уж покажи ему, — попросил переводчик.

— Не имею права, — отвечал полицейский.

— Он все равно не отстанет, покажи на минутку!

Полицейский вздохнул, оглянулся по сторонам — не видит ли кто — и достал оружие. Черный револьвер с барабаном и белой рукояткой заиграл на солнце...

— Дай подержать! — совсем обнаглел я. Полицейский взглянул на переводчика. На этот раз у него уже не оставалось сомнений в моей психической неполноценности, хотя он и ничего не спросил.

— Не бойся, покажи! — сказал Майкл. Полицейский опять огляделся по сторонам, затем высыпал из барабана пули и протянул мне незаряженный кольт.



— Шен генацвале! — воскликнул я по-грузински. Переводчик и полицейский удивленно переглянулись.

— Ол райт! — сказал я по-английски. Полицейский, довольный, заулыбался.

Если уж говорить о Сент-Луисе, то стоит, пожалуй, рассказать и о заводе Форда.

Конвейер автомобильного завода Форда в Сент-Луисе — самый медленный конвейер в США. С него сходит 38 автомобилей в час. Эта его «неторопливость» объясняется тем, что завод производит и выпускает машины по заказу покупателей.

Мне довелось увидеть производственный процесс от обработки кузова антикоррозийной жидкостью до того момента, как человек садится за руль.

Чарли Чаплин был гений, он мог все высмеивать и утрировать, и имел на то право, однако лично меня поразила тамошняя организация труда.

Кроме как во время перерыва, нет никакой возможности побеседовать с рабочим, задать ему вопросы вроде того, когда он полюбил свою профессию; это образцовый процесс распределения в высшей степени напряженного труда без малейшей передышки. Никто не мечется в поисках болта, напильника или молотка, работа идет без перебоев, все лежит на своем месте, никто ни с кем не препирается, никто ни к кому не пристаёт. Понятно, в таких условиях работать нелегко...

Невиданному техническому прогрессу и автоматизации в Соединенных Штатах Америки, кроме всего остального, в немалой степени способствовали и ловкачество и мошенничество.

Со мной произошла такая история.

Я купил в универмаге джинсы. Мне их безукоризненно упаковали, уложили в великолепный фирменный пакет и с улыбкой пожелали всего доброго. Когда я был уже у выхода, дверь вдруг подняла такой визг, что я решил — не иначе, как воздушная тревога, и замер на месте.

— Пройдите, пожалуйста, к кассе, — сказала мне какая-то женщина. Я подошел. У меня забрали сумку и раскрыли ее. Обнаружив там оплаченный чек, не на шутку всполошились. Накинулись на девушку-про-

давшицу и устроили ей разнос. Девушку прошиб холодный пот, она раз сто извинилась передо мной. Оказывается, эта девушка была новенькой и забыла отстегнуть от джинсов пластмассовую кнопочку, которая и исторгла у стоящего в дверях на выходе фотореле тревожный вопль, означавший: «Внимание, вор!»

Так что благодаря этой забывчивой девушке я чуть было и впрямь не оказался в Бурбонской тюрьме.

Такие фотореле стоят во многих местах. Особенно в магазинах, где продаются золотые изделия, драгоценные камни, меха. А в одном магазине я видел меховые манто и шубы, прикрепленные к вешалкам маленькими красивыми цепочками, запертыми на замок.

Северная Калифорния.

Мы мчимся на машине смотреть дом-музей и могилу Джека Лондона. На автостраде наш шофер развил недозволенную скорость; слава богу, по пути нам не встретились ни полицейский пункт, ни регулировщик движения. Где и когда за нами увязалась полицейская машина, для меня по сей день загадка.

Нашего водителя спас авторитет Валентина Катаева, книги которого, как выяснилось, читал и полицейский. Он великодушно простил нашему шоферу нарушение правил, пожелал нам счастливого пути, прибавив при этом:

— Вы уж так не спешите, а не то свидитесь с самим Джеком Лондоном прежде, чем попадете в его дом-музей.

Джек Лондон похоронен в дремучем лесу «Лунной долины». Его могила (недалеко от его же «Волчьего логова», сожженного завистниками дотла) с покосившейся деревянной оградой, заваленная замшелыми булыжниками, имеет крайне неухоженный вид. Конечно, это всего лишь экзотика, американцам нравится так бесцеремонно обращаться с великими людьми. Я еще раз в этом убедился, когда посетил в Вашингтоне могилу Джона Кеннеди на Арлингтонском кладбище; я уверен, что в Тбилиси ни на одном кладбище нет такой простенькой и «бедной» могилы — крест, не-



большая мраморная плита, на стене мудрые изречения президента, и больше ничего. Он похоронен рядом со своим братом. Вернее, это брат похоронен рядом с президентом, брат, который с ужасающей точностью повторил его судьбу.

«Волчье логово» Джека Лондона — огромное незаконченное сооружение, сложенное из больших черных глыб. «Смотрю на бег облаков над куполом. О время, время!..» — вспомнился мне Галактион.

И зачем ему понадобился такой домина! Впрочем, такова уж природа человека, выросшего в нищете и внезапно разбогатевшего — мировое имя, мировая слава, огромный храм... безудержное желание приблизиться к богу... И, каким бы парадоксом вам это ни казалось, — отвращение к деньгам и животный страх, боязнь вновь их лишиться... Из биографии Джека Лондона вспоминаю: «Самый вкусный хлеб мне пришлось есть во время моих скитаний, в семье бедняка...».

Богатство тяготило его, невероятно тяготило, и теперь, один в дремучем лесу, он отдыхал от него, всех беднее и всех богаче.

Сан-Франциско такой город, о котором очень трудно что-либо рассказать — его надо видеть.

Что мне больше всего понравилось в Сан-Франциско? Только не смейтесь надо мной: трамвай и рыбный базар.

Трамвай сохраняется в городе как историческая реликвия. Городские власти, оказывается, давно уже хотят от него избавиться, однако жители Сан-Франциско, любители экзотики и старины, настояли на том, чтобы трамвай оставили. Сейчас, вспоминая те трамвайные поездки, я думаю: чем был бы Сан-Франциско без трамвая? Обыкновенным городом, тесно застроенным небоскребами и красивыми виллами, одним из многих, но отнюдь не единственным. А между тем Сан-Франциско — единственный город в Америке, напомнивший мне Тбилиси.

Когда я упоминаю Тбилиси рядом с Сан-Франциско, я подразумеваю его трамвай и шумные улицы.



Так же, как и тбилисские ребята, сан-францисские парни великие мастера вскакивать в трамвай и соскакивать с него на ходу. Представьте себе, они даже умеют спрыгивать «задом».

Ватманы, кондукторы, звонки, толкотня, оттоптаные ноги, сорванные пуговицы, давка и, наверное, «зайцы».

Из центра Сан-Франциско трамвай, проезжая гигантский подъем, перевозит население в часть города, расположенную на берегу океана. Когда трамвай спускается по склону к рыбному базару, за ним стоит понаблюдать. Здоровенный негр, стоящий у буфера, громкими окриками предупреждает столпившихся вокруг граждан — посторонитесь-ка,— и начинается великолепнейшее зрелище — фейерверк высочайшего мастерства. Негр тормозит разогнавшийся на спуске трамвай, причем тормоз так архаичен, примитивен и стар, что у человека непривычного сердце замирает; а вдруг откажет?

Признаться, я вторично сел в этот трамвай специально, чтобы еще раз поглядеть на негра и испытать тот же страх.

Рыбный базар похож на огромную перламутровую раковину, выброшенную на берег прибоем. Вообразите-ка теперь эту раковину, населенную всеми морскими обитателями, с бесчисленными ресторанами, забегаловками, ларьками, палатками, торговцами вручную, уличными артистами, факирами, путешественниками, съехавшимися со всех концов земли, хиппи, ну и, самое главное, истосковавшимися по суше моряками... И дышит рыбный базар гигантскими легкими, наполненными соленым воздухом океана, даже скорее не дышит, а вздыхает.

Почему этот рынок называется в Сан-Франциско «рыбным», удивляет меня и поныне, ибо там продается все что угодно, кроме рыбы,— начиная с продырявленных морских камушков и кончая медузами. В пишу идет все: лягушки, крабы, мидии, улитки, даже змеи, и, если не знаешь, что ты съел, все кажется безумно вкусным. Перед тем, как приняться за еду, я всегда просил хозяина не говорить, чем он меня потчует, ну, а после еды и подавно. Таким образом,

я отведал в Америке массу великолепных блюд, так и не узнав, как они называются.

Помню, в Вашингтоне было то же самое. Пригласил меня в гости Мэлор Стуруа. Был там и Темур Аласаниа, молодой грузин, красивый и любезный, сотрудник дипломатического корпуса. Супруга Мэлора приготовила замечательные кушанья, такие вкусные, что, как говорится, пальчики оближешь. Мэлор, его супруга и Темур внимательно за мной наблюдали и как-то подозрительно посмеивались. Я догадался, что меня накормили какой-то дрянью, но не подал виду, так как сами они ели с большим аппетитом.

Все тосты, которые сегодня в Грузии уже кажутся банальными, в тот вечер на другом конце света, в семье Мэлора, дышали такой свежестью, очарованием и красотой, будто их произносили впервые, будто возникли они только что и были абсолютно неповторимы. Мы поднимали бокалы за Грузию, за родных, за друзей, за грузинский язык, за стихи, за любовь, за солнце, за землю, за грузинских женщин...

В Сан-Франциско со мной приключилась такая история.

Зашел я в универсальный магазин сельскохозяйственных продуктов. В Америке для таких магазинов, будь то север или юг, времени года, как правило, не существует. Грузинская ироническая поговорка «захотелось бабушке в январе клубнички» там совершенно неуместна, ибо все — и бабушки, и внуки — могут пожелать в январе клубники, дыни, арбуза, бананов, бататов, вишни — и если у них есть деньги, то им ничего не стоит удовлетворить это желание. Лично я зашел в этот универсальный магазин затем, чтобы осуществить свою давнишнюю, детскую мечту, в чем и преуспел. Дело в том, что за прилавком рядком стояли полные мешки очищенных поджаренных семечек.

И вот, когда я покупал эти очищенные семечки, ко мне подошел молодой человек, очень высокий, светловолосый, голубоглазый, с орлиным носом.

— Простите, мистер, вы, случайно, не еврей? — спросил он.

— Нет, грузин, — отвечал я несколько удивленно. За кого только меня не принимали — за армянина, за



азербайджанца, за испанца, за албанца, даже за болгарина,— однако «евреем» я оказался впервые.

— Но если вы не еврей, чёго же вы носите еврейскую ермолку? — недоуменно поинтересовался молодой человек.

Я невольно схватился за голову.

— Это ведь еврейская ермолка. Кстати, будьте добры указать мне, где вы ее купили,— попросил он.

— Да нигде я ее не купил, это наш национальный головной убор,— ответил я, снимая сванскую шапочку.

— Правда? — Молодой человек не сводил глаз со сванки.

— Нравится? — спросил я, улыбаясь. Я надел шапочку ему на голову. Сванка так шла юноше, будто была сделана специально для него. С минуту он стоял так, затем снял сванку, осторожно повертел в руках и, наконец, вернул ее мне.

— Возьми себе,— сказал я и снова надел сванку ему на голову. Он не понял. Обернулся к переводчику — чёго, мол, это он?

— Он тебе дарит ее,— пояснил переводчик. Тот смутился, покраснел и не хотел брать у меня сванку.

— Бери, бери, он все равно обратно не возьмет,— уговаривал его переводчик. Юноша радостно нахлобучил сванку на голову и куда-то убежал. Прежде чем я успел купить семечки, он вернулся в сопровождении четверых молодых людей и двух девушек. Эти уже были посмуглее и впрямь походили на евреев.

— Вот, он мне подарил,— сообщил товарищам наш молодой человек, и все по очереди представились. Я пожалел, что у меня больше не было сванских шапочек, представляя, как обрадовались бы все шестеро.

— Как вы их делаете? — спросил один.

— Не могу вам сказать, это секрет фирмы,— отвечал я.

— Тогда продайте нам патент,— шуткой на шутку ответил он.

— Патента я продать вам не могу, приезжайте в Грузию — сваны вам подарят столько шапок, что на всех хватит,— пригласил я. Они ушли очень веселые и довольные.



В Вашингтоне всю нашу группу пригласили на отделение славистики университета, где состоялся вечер. Как только мы вошли в здание университета, нам в глаза бросился плакат такого содержания:

#### ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ:

1. ТОЛСТОЙ
2. ДОСТОЕВСКИЙ
3. СОЛЖЕНИЦЫН
4. НАБОКОВ

— Что скажете? — спросил меня какой-то эмигрант.

— Я считал вас богаче!

— Верно, но эти — гении, это наш капитал.

— Ну, если уж вы считаете Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Чехова и Шолохова мелочью, вы и в самом деле богачи, — сказал я.

В это время ко мне подошел один киносценарист, с которым я был давно знаком. Его появление меня удивило, так как он не входил в нашу группу, и я решил, что он, наверное, путешествует по Америке, и, узнав о том, что мы здесь, пришел повидаться.

— Здравствуй, Нодар! — сказал он мне.

— Здравствуй, — я обнял и расцеловал его. — Как дела? Откуда ты здесь взялся?!

— Дела ничего, — отвечал он, однако весьма пассивно отреагировал на мои восторги по поводу встречи.

— Что с тобой? — поинтересовался я, удивленный холодком, которым от него веяло.

— Ты что, ничего не знаешь? — спросил он.

— А что я должен знать?

— Я ведь в эмиграции, уехал из Советского Союза и теперь живу здесь, — сказал он, криво улыбаясь.

Я был поражен. Только сейчас я заметил, что вокруг воцарилось неловкое молчание и все смотрят на нас в ожидании, чем закончится эта непредвиденная встреча. Я был в полной растерянности, и вдруг расхохотался.

— Ты чего? — спросил Мэлор Стуруа.

Дело в том, что с этим человеком я познакомился в 1966 году в Аджарии, когда служил там на границе. Он тогда привез свой фильм и показывал его пограничникам.

В Аджарии он на несколько дней задержался, и мы с ним подружились, раза три он был у меня на самой границе, где достаточно перешагнуть ручей — и ты уже в Турции. Я ему даже показал, как это выглядит, одной ногой переступил через ручей, на ту сторону, в Турцию, значит, а другая осталась тут, в Советском Союзе. Он тогда долго смеялся.

— Это еще что, я вот рыбаку здесь — в ручье полно форели, только половина наша, а половина турецкая.

— Интересно знать, как ты отличаешь нашу рыбу от ненашей? — спросил он.

— Очень просто: наша форель имеет маленькие красные звездочки, а турецкая — полумесяцы.

Вспомнилась мне эта история, вот я и рассмеялся.

— Что тут смешного? — поинтересовался на сей раз задетый сценарист.

— Милый мой, если тебе так хотелось за границу, сказал бы тогда, я бы отпустил. Граница-то всего в полуметре была, зачем тебе понадобилось такой крюк делать?

Все засмеялись...

Это происходило 9 мая, в годовщину нашей победы над фашистской Германией.

— Ну-ка! — сказал Григорий Бакланов. — Сегодня 9 мая, день Победы, ты ведь участник войны, неужели не выпьешь?

Тот долго вертел в руке бокал, затем, ни слова не говоря, залпом осушил его, повернулся и ушел.

Мне стало неловко. Я догнал его.

— И все-таки, почему ты уехал?

— У меня тут за три года четыре книги вышло, — с вызовом сказал он.

— А в этих книгах ты, небось, наших ругаешь?

— Нет, американцев! — с иронией ответил он.

— Интересно знать, кто тебе в Советском Союзе мешал ругать Америку?

С минуту он глядел на меня, потом махнул рукой и ушел...

Во время нашего пребывания в Нью-Йорке мне всего два раза звонили в гостиницу. В первый раз, если помните, это оказался Зураб Церетели, а во второй — какой-то незнакомый человек звонил мне из Вашингтона.

— Я поклонник вашего таланта,— сказал он.— Можем ли мы встретиться, когда вы будете в Вашингтоне?

Я точно не знал, когда я буду в Вашингтоне, поэтому записал его телефон, пообещав по приезде позвонить. Позднее, оказавшись в Вашингтоне, я спросил у Мэлора Стуруа:

— Ты не знаешь случайно этого человека?

— Он, наверное, из «Голоса Америки»,— сказал Мэлор.

Мне очень захотелось повидаться с этим человеком, но сколько я ни звонил, никак не мог застать его дома. Встреча с ним интересовала меня хотя бы потому, что «Голос Америки» передает слишком уж одиозные и старые новости, и мне надо было рассказать ему о Грузии что-нибудь новенькое, действительно интересное и живое.

На Арлингтонское кладбище Гришу Бакланова, Ясена Засурского, Сергея Залыгина и меня повез на своей маленькой спортивной машине Темур Аласаниа. Допуск на кладбище был уже прекращен, но его как дипломата уважили, и двое полицейских с почетом проводили нас к могиле Неизвестного солдата. Мы успели как раз к смене караула.

Это весьма впечатляющее зрелище. Вдоль могилы Неизвестного солдата очень мелкими шагами проходит караульный, облаченный в старый, наверное, еще образца прошлого века, мундир и вооруженный карабином той же эпохи. Каждый раз, пройдя до конца дорожки, он останавливается, щелкнув каблуками, позвякивая шпорами, и как-то странно манипулирует на весу ружьем. Поворачивается и двигается к противоположному концу дорожки. Так он ходит в течение часа или получаса, точно не знаю. Вдруг появляется сержант в сопровождении второго караульного. Смена караула. Сержант забрал ружье у прежнего караульного, с ловкостью жонглера разрядил его, вновь



зарядил и передал новому караульному; затем приблизился к могиле Неизвестного солдата, отсалютовал и после минуты молчания громко обратился к нему приблизительно с такими словами:

— Я сержант такой-то, пришел к тебе, чтобы поклониться твоему священному праху, Неизвестный солдат, погибший за свободу и независимость родины...

Его речь была довольно длинной, патетической и проникновенной. Окончив ее, он обернулся к беломраморному амфитеатру, где стояли мы, и, обращаясь уже к нам, сказал:

— Дамы и господа! Здесь покоится боец за свободу и независимость, Неизвестный солдат. Прошу вас, если среди вас есть участники войны или военнослужащие, отдать ему честь, а если кто-нибудь из ваших близких погиб на войне, положив руку на сердце, почтите его светлую память...

Конечно, все мы прижали руки к груди. Очень трогательно было видеть, как стоявшая рядом со мной девушка лет пяти положила руку на грудь и вопросительно взглянула на мать — так ли она поступает, как надо. Минута молчания, и сержант снова обращается к нам:

— Дамы и господа, Арлингтонское кладбище заканчивает свою работу, просим всех незамедлительно покинуть территорию кладбища.

В Вашингтоне нас пригласили в Большую библиотеку Конгресса и провели в отдел советской литературы. Представьте себе, в библиотеке оказалось целых шестнадцать моих книг.

Компьютер, который стоит в библиотеке, отвечает на самые разнообразные вопросы. Каждый интересовался своими книгами. Поинтересовался и Катаев. Оказалось, что в библиотеке имеется более ста его книг.

— А теперь спросите у него, сколько моих книг вышло в Японии. — Катаев вошел во вкус.

— Мистер Катаев, эта машина невежественна и безграмотна, она не знает японского языка и пока говорит лишь на английском, французском и немецком, — извинился библиотекарь.

— Для того чтобы ответить на мой вопрос, ей вовсе не обязательно знать японский язык,— шуткой на шутку отвечал Катаев.

— Вы совершенно правы, но ведь должна же она прочесть ваши книги,— не растерялся библиотекарь.

Показали нам и хранилище рукописей. С большой бережливостью хранят американцы не только древние манускрипты, но и рукописи своих выдающихся современных писателей.

Там были Фолкнер, Хэмингуэй, Стейнбек... Наше внимание привлекла рукопись одного из романов Стейнбека. Этот роман был написан карандашом в толстой общей тетради. В рукописи около двадцати страниц было перечеркнуто карандашом редактора.

— Что это значит? — поинтересовался я.

— Эту главу редактор изъял,— ответил наш экскурсовод.— Редактор считал ее слабой и выпадающей из общего стиля произведения и посоветовал автору ее убрать, а тот согласился.

— Еще бы не согласиться, когда из-за этих двадцати страниц остальные четыреста не будут опубликованы,— сказал Катаев. Экскурсовод не нашелся, что ответить.

Кстати, о Стейнбеке. В Сент-Луисском университете у нас была встреча со студентами. Они задавали множество вопросов о системе высшего образования в СССР. Кто-то спросил, преподают ли у нас американскую литературу. Я предложил состязаться: кто назовет больше американских писателей... Дело не в том, что я хочу похвастать своей победой, просто меня удивило, что многие американские студенты не читали Стейнбека. О нашей современной литературе и говорить нечего. Этим я отнюдь не хочу сказать, что американские студенты неучи и невежды. Вовсе нет, они блестяще владеют той специальностью, которой обучаются. Однако обо всем, что происходит за ее пределами, имеют весьма смутное представление.

Бросается в глаза демократичность в отношениях профессорско-преподавательского состава со студентами. Профессора и преподаватели вместе со студентами занимаются спортом, а по вечерам танцуют и



поют в студенческом клубе, и, между прочим, каждый выбирает себе наряд в зависимости от своих вкусов и склонностей. Вам не удастся встретить двух одинаково одетых студентов или профессоров.

Одна преподавательница явилась на встречу с нами босиком.

В Америке каждого, кто читает лекции, называют профессором. Таким образом, читая студентам популярную лекцию о Грузии, я тоже был профессором.

Между прочим, один студент-негр назвал мне несколько негритянских писателей. Кроме Алекса Хейли, я не знал никого из них.

— Вы все нас упрекаете, но ведь и вы в конце концов знаете не так уж много,— сказал он, смеясь. В ответ на это я мог отыскать тысячу оправданий, но тут наиболее подходящей показалась мне острота нашего поэта Отара Мампория.

— Уж не думаете ли вы, что я читатель? Я, дорогой мой, писатель! — отвечал я.

Мой ответ вызвал такой хохот в зале, что этот студент-негр подошел и обнял меня.

Кстати, об Алексе Хейли. В Америке сейчас нет книги более популярной, чем его «Корни». Эта книга произвела в Штатах генеалогическую революцию. Дело в том, что сей темнокожий писатель проследил генеалогию своей семьи, поехал в Африку, разыскал то село, откуда 300—400 лет назад его предков, законченных в цепи, увезли в Америку, чтобы сделать там рабами, и некоторое время жил среди своего народа. Все это он описал в книге, которую назвал «Корни».

Сейчас, как я уже сказал, вся Америка погружена в эту генеалогическую и, если можно так выразиться, духовную, генетическую «археологию». Сегодня в Штатах кого ни спроси о национальности, непременно получишь наидостовернейший ответ: или шотландец, или ирландец, или француз, или русский, выходец из Тамбовской губернии, или испанец, или негр, или же уроженец Средиземноморского бассейна. «Я — американец» не говорит почти никто.

Атомное ядро американской нации находится сейчас в процессе расщепления, и какая энергия гнездится внутри него, заранее сказать трудно. А возможно,



что этот процесс окажется всего лишь временным увлечением американских любителей старины и романтики. Кто знает?

В Сент-Луисе, чтобы показать нам, как живут американцы, нас приглашали домой к разным людям. Мне и писателю С. Залыгину довелось гостить у профессора Сент-Луисского университета.

Сначала он прислал свою визитную карточку, затем утром заехал за нами в гостиницу на своей машине и прокатил нас по всему городу, повез на берег Миссисипи, чтобы показать чудо современной архитектуры — Сент-Луисскую арку, а потом пригласил на свою загородную виллу обедать. Все американцы, разумеется, те, у кого есть такая возможность, стремятся жить за городом.

Вилла была большая, двухэтажная. Маленький дворик с зелеными газонами украшали плавательный бассейн и ельник, полный толстеньких, пушистых, на редкость смелых с людьми, почти ручных белок. Американцы отнюдь не утруждают себя сооружением заборов, вполне довольствуясь, так сказать, естественными рубежами.

Хозяйка уже поджидала нас. И она и ее супруг оказались очень гостеприимными, милыми и любезными людьми. И муж и жена увлекались стариной. Муж оказался страстным коллекционером бокалов, и почти все стены этого огромного дома были заняты сосудами всевозможных цветов и размеров. Самому древнему бокалу было, если не ошибаюсь, 150 лет. Над ним тряслись, как над ахиллесовым щитом, так что уж я не решился его потрогать.

Когда я подарил супругам медальон с изображением Матери-Грузии, выпущенный к 1500-летию основания Тбилиси, маленький кинжал и привезенный из рачинского села Геби перстень, простой, но очень древний, радости их не было предела.

— Этому перстню столько же лет, сколько всем вашим бокалам, вместе взятым, — хвастливо заметил я.

В Сент-Луисе вообще любят старину. Как-то на одной из улиц разрыли поврежденную канализационную сеть и обнаружили, что раньше (под четырьмя

или пятью слоями асфальта) там была булыжная мостовая,— так теперь весь муниципалитет занят тем, что разрывает асфальт и реставрирует булыжные мостовые.

Сент-Луис славится в мире и своей замечательной телефонной станцией, где в то же время изготавливается всевозможная телефонная аппаратура, которой пользуется почти вся Америка. Мы побывали на этой станции. Она, разумеется, находится в частных руках.

В Америке я видел еще один замечательный образец архитектуры — лос-анджелесскую гостиницу «Холлидэй» с подвесными лифтами, построенную по проекту архитектора Джона Портмана.

В задыхающемся от обычного смога и выхлопных газов миллионов автомашин городе эта гостиница похожа на цветущий оазис в Аравийской пустыне.

Ее фойе представляет собою зеленеющий сад и переливающееся голубое озеро; в воду наполовину погружены четыре разноцветных лифта, которые время от времени взмывают вверх, как торпеды, и с головокружительной скоростью уносятся куда-то к звездам. Сквозь стекло лифта видно все — и город, и фойе, и этажи, и солнечное или звездное небо. Особенно красиво это выглядит ночью, когда само здание скрыто темнотой и четыре освещенных лифта, устроенные снаружи, напоминают четыре клетки для канареек, поочередно увлекаемые в небо чьей-то невидимой рукой.

Я прожил в этой гостинице три дня, именно дня, потому что ночью я бродил по городу и глазел на это великолепное зрелище.

Администрация чрезвычайно гордится своей гостиницей. Помню, утром дежурный по этажу спросил меня:

— Как вам спалось, мистер Думбадзе?

— Как в аккордеоне, — отвечал я.

— Это как же понять?.. — удивился он.

— Очень просто... В жизни не приходилось спать среди столькох кнопок, — сказал я. Он долго смеялся, затем повел меня в номер и подробно объяснил

назначение каждой кнопки. Однако это не помогло. Вечером я опять все перепутал, вместо того, чтобы включить кондиционер, я нажал кнопку завода будильника, вследствие чего как сумасшедший вскочил с постели в два часа ночи.

Вас, должно быть, удивляет, что я ничего не рассказываю о знаменитых американских небоскребах. Честно говоря, большого впечатления они на меня не произвели. Да и чем, собственно, эти небоскребы могли меня удивить? Разве только тем, что не разваливаются?.. Напротив, небоскребы показались мне одним из величайших несчастий Америки, когда в Нью-Йорке среди лишенных солнца мрачных зданий я видел задыхающиеся без воздуха чахоточные растения.

Меня больше удивила одноэтажная Америка, потому что люди, умудряющиеся строить такие одноэтажные здания, в состоянии, вероятно, построить не то что одноэтажные, но и сооружения в тысячу этажей. Для них это уже не проблема.

Я давеча говорил о лифтах, так вот, хочу вам рассказать один курьезный случай, как раз связанный с лифтом.

В Нью-Йорке шел один молодежный спектакль, такой нашумевший, что нам с трудом достали билеты.

Так или иначе, мы все же попали на спектакль. Театр располагался на третьем этаже старого, аварийного дома. Городская мэрия, оказывается, хотела сломать этот дом, но по просьбе любителей театра уступила его им. Любители здание отремонтировали и превратили в театр. Интересно то, что за это никому негодное здание, дабы не нарушать существующей в США тарифной системы, вносится ежегодная плата — один доллар.

Вошли мы в лифт, раскачиваясь и вздрагивая, проехали один этаж, другой и... лифт остановился, вернее, застрял между вторым и третьим этажами. Администрация всего дома поднялась на ноги. Однако, несмотря на все их попытки и усилия что-то сделать — представляете! — им даже не удалось сдвинуть нас с



места. В общем, целый час мы просидели в лифте. Чуть не задохнулись. Американка, случайно оказавшаяся с нами, столько извинялась от имени всей американской технической интеллигенции, что под конец нам стало неловко, и мы начали успокаивать ее.

В конце концов привели двух негров, должно быть, монтеров; они разобрали лифт чуть ли не до последнего винтика и с великим трудом извлекли нас оттуда задыхающихся, потных, с пожелтевшими физиономиями. Люди, собравшиеся на лестнице, чтобы поздравиться, встретили наше появление аплодисментами и восторженными криками. Нас тут же угостили ледяным французским шампанским. Как жаждущие в пустыне, мы набросились на живительную влагу. Какой-то тип воспользовался случаем и залпом опорожнил бокал предназначавшегося для нас шампанского.

— А его с нами не было! — закричал кто-то.

— Ну и что ж, что не было! Зато я так переживал, пока вы там сидели! — выкрутился тот. Его ответ вызвал такой хохот и ликование, что администрация преподнесла ему второй бокал. Он принял этот второй бокал и передал его какой-то даме. На этот раз восторг толпы вызвало его джентльменство, а когда оказалось, что эта дама — его супруга, смеху и шуткам не было конца. Впрочем, громче всех смеялись сами супруги.

О спектакле мне сказать почти нечего, потому что как только Майкл начинал переводить, зрители, сидящие сзади, тут же заставляли его умолкнуть.

Труппа в основном состояла из учащих, и лишь два-три актера были профессионалами.

Декорация спектакля показалась мне эклектичной, склеенной из различных «измов». Сам спектакль представлял собой нечто вроде мюзикла, ребята великолепно танцевали и пели. Но более всего меня очаровала пластика «цветных» актеров.

Вообще-то пьеса показалась мне пессимистичной. Это был крик души маленьких детей, оставленных без присмотра, без внимания, без любви. Реплику одного из героев Майкл все-таки успел перевести.

— Мы владеем такими богатствами, что иногда остаемся голодными, — это говорил мальчик 10—12

лет. Вернее, с этими словами он обратился к аудитории, и аудитория встретила эту реплику аплодисментами.

К несчастью, я потерял программу спектакля и сейчас не помню фамилий ни автора пьесы, ни режиссера.

Что касается спектакля, то его в самом ближайшем будущем собирались переносить на Бродвей, ну, а Бродвей — это уже мировое признание.

Настал черед побывать в Диснейленде и Голливуде.

В Диснейленде воскрешены все приключенческие книжки, которые мы читали в детстве. Путешествие в «Наутилусе» под водой; путешествие по реке в стране разбойников и пиратов, накачивающихся джином и виски; грохот ружей, пушек, пистолетов; поразительные имитации нападений и грабежей; по улицам, в обнимку с гуляющими детьми, расхаживают Микки Маусы, медвежата, кролики, белочки, волки, лисицы... На верхушке баобаба — сплетенная наподобие птичьего гнезда избушка, увитая лианами монорельсовая дорога, старинный дилижанс, конка, вигвамы, индейцы, ледяные вершины; маленькие гостиницы, миниатюрные города, улицы, поединки ковбоев и, наконец, совсем недавно построенный космодром, с которого выполняется рейс: ЗЕМЛЯ — МАРС.

Мы вошли в круглое сооружение, похожее на цирк, в купол которого вмонтирован огромный киноэкран. Нас усадили на специально отведенные места, и диктор в репродукторе объявил:

— Внимание! Полет начинается. Пять, четыре, три, два, один. Старт!

Ритуал взлета приблизительно таков, каким мы обычно видим взлет космических кораблей на экране. Свет погас. На усыпанном звездами небе появляется ярко-красная планета величиной с яйцо. Гудят моторы. Наши стулья начинают сильно вибрировать, мы слегка отклоняемся назад, и ракета движется по направлению к Марсу. Полет продолжается приблизительно полчаса. Постепенно мы приблизились к Мар-



су. Это вовсе не придуманная постановка с декорациями. То была настоящая пленка, которую отсняла и привезла с Марса на Землю американская космическая станция. Мы приблизились к Марсу на несколько сотен километров и, облетев его пустынную, испещренную отвесными скалами и трещинами («каналами») огромную поверхность, повернули к Земле. Теперь уже Земля показалась впереди маленькой, мерцающей, голубой звездочкой, и чем ближе мы к ней были, тем более удивительное зрелище она собой являла.

Подобной красоты мне в своей жизни видеть не приходилось. Земля, похожая на гигантский изумруд в тысячецветном лучезарном ореоле, такая прекрасная и родная, приближалась с невиданной быстротой. Когда она была уже совсем близко, у меня екнуло сердце: я увидел одну воду и больше ничего — суши не было видно. Планета постепенно росла, увеличивалась.

— Гриша, Земля! — радостно прошептал я Бакланову. Наверное, такую же радость испытывают космонавты и астронавты, когда возвращаются на Землю. Кроме невесомости, мы испытали все. Была полная иллюзия взлета и приземления. Между прочим, мы запаслись в дорогу и провиантом — вкуснейшими калифорнийскими кукурузными хлопьями — «баггетти», как их называют у нас в Грузии.

По территории Голливуда нас возили на автобусе. Почти целый час продолжалась эта поездка среди уже знакомых нам с экрана южноамериканских городов и сел, прославленных своими ковбоями и гангстерами; охваченных пламенем небоскребов и затопленных наводнением ковбойских ранчо. По дороге нас подстерегали бесчисленные «опасности». Сначала наша машина едва не опрокинулась в громадном ледяном туннеле, затем прямо под колесами сломался и разлетелся в щепки старый деревянный мостик; когда мы проезжали озеро, нас чуть было не проглотила колоссальная акула, а вслед за тем к нам подкралась подводная лодка и прямо у нас перед носом взорвала мину. Однако на том наши злоключения не закончились: мчащийся с горы поток едва не унес нас вме-



сте с автобусом... Чудом уцелев, мы еле добрались до столовой, где один из наших хозяев, 76-летний йог, прямо на полу сделал стойку на руках. Ему очень хотелось, чтобы мы последовали его примеру.

Этот йог не был ни актером, ни жонглером. То был просто доброволец, который после ухода на пенсию занимался тем, что принимал иностранных туристов.

На прощание он роздал нам свои на редкость оригинальные визитные карточки. В этих карточках, помимо его имени и фамилии, было указано следующее: в котором часу его можно приглашать в гости, какие блюда он любит, какого типа женщины ему нравятся, сколько ложек сахара он кладет в чай и в кофе, что он пьет, какие сигареты предпочитает, сколько весит, какого рода подарки принимает и так далее.

Тамадой за столом был президент тамошнего туристского общества. Когда мы уже были немного разгорячены выпитым виски, президент поднялся.

— Дамы и господа! — начал он, подняв хрустальный бокал. — Этот тост я хочу предложить за самую красивую, самую привлекательную, самую прекрасную половину человечества!

— Господин президент, вы, случайно, не Советский Союз имеете в виду? — поинтересовался я.

— Мистер Думбадзе, я собирался выпить за дам, но раз уж вы меня так поняли, давайте выпьем за Советский Союз! — не растерялся президент, и под всеобщий смех и аплодисменты мы подняли бокалы за Советский Союз.

В Голливуде нам показали две серии нового фильма «Челюсти». С точки зрения технической и режиссерской фильм очень интересен, но смотреть его страшно. С потрясающим натурализмом там показывают, как гигантская акула пожирает отдыхающих маленького приморского городка.

Фильм этот снят по мотивам популярного романа Николаса Беншли.

Организация Объединенных Наций всегда казалась мне строго охраняемой, таинственной и неприступной крепостью — твердыней. Ничуть не бывало! Сидят за круглым столом представители всего мира и

решают судьбу какой-нибудь страны, а в это время амфитеатры и балконы залов заседаний ООН заполнены журналистами, фоторепортерами, туристами и путешественниками.

В одном из залов заседаний разбирался... не помню точно, кажется, абиссинский вопрос. Мы подошли как раз к началу голосования. Когда часть представителей подняла руки, я решил в шутку подержать их с балкона своим голосом и тоже поднял руку. Наш гид громко рассмеялся.

— Почему вы смеетесь? — спросил я.

— Вы только что проголосовали за предложение США, — отвечал гид.

— Знаю, знаю, но у него было так мало сторонников, что мне просто вас жалко стало, — не растерялся я.

ООН походит на выставку уникальных произведений искусства. Почти все входящие в нее государства преподносят ООН какой-нибудь шедевр, и все это выставлено в фойе и коридорах. Лучшей выставки нет нигде. Между прочим, я видел там известный витраж Шагала, затем купил почтовую открытку с его репродукцией и со знаменитой почты ООН отправил своим в Тбилиси с первомайскими поздравлениями.

Адрес я написал по-русски, а текст по-грузински. Не знаю, чья почта оконфузилась, но факт остается фактом: спустя два месяца после моего возвращения из Штатов эту открытку принес мне наш почтальон. Если бы я, подобно капитану потонувшего судна, сунул эту открытку в бутылку и бросил в океан, она попала бы в Тбилиси тоже через два месяца.

Сразу же по приезде в Нью-Йорк нас предупредили, сами американцы, кстати говоря, чтобы мы не гуляли по улицам допоздна — могут ограбить, а ходить поодиночке в знаменитый нью-йоркский Центральный парк нам запретили не только ночью, но и днем.

Несмотря на то, что я не великий искатель приключений и сердце у меня не львиное, любопытство мое пересилило все остальные чувства, я подумал: дай-ка пройду разок по этому людоедскому парку,

не убьют же меня, в самом деле, зато будет что рассказать и чем похвастать. Причем не только подумал, но и выполнил свое намерение.

В двенадцать часов ночи я пришел в парк. Тут и там на скамейках группами сидели молодые люди, возможно — хиппи, хулиганы, грабители и убийцы. С уверенностью ничего сказать не могу. Возможно, это были самые благовоспитанные и почтенные люди. Кто пел, кто смеялся, кто сидел молча. Кто расположился прямо на траве со своей возлюбленной... И только я в гордом одиночестве шагал по парку, насвистывая, руки в карманах, с напускной беспечностью на лице. Когда я возвращался, от одной из групп отделился дюжий малый и, тоже насвистывая, засунув руки в карманы, направился ко мне. Он подошел. Я остановился. Он был выше меня на целых две головы... Нет, не на две, но на голову выше все же был.

— Чего тебе? — спросил я по-грузински. Он удивленно поглядел на меня и что-то спросил. Я ничего не понял, однако мне показалось, что он интересуется моим происхождением, так как он повертел рукой у меня перед носом.

— Я гуриец, из Чохатаурского района, — это я тоже, разумеется, сказал по-грузински. Он совсем обалдел и опять что-то спросил.

— Ноу спик инглиш! — признался я в конце концов. Все это время я глядел на него снизу вверх, как будто разговаривал с человеком, стоящим на балконе. Не знаю, то ли моя одежда его испугала, то ли мой английский — он пожал плечами, потом похлопал по плечу меня, повернулся и ушел. Я насилу успокоился.

Когда утром я рассказал нашим эту историю, мне, конечно, никто не поверил. Тогда я все до мелочей рассказал нашему переводчику.

— Мистер Думбадзе, — сказал Майкл, — все разбойники в этом парке или итальянцы, или мексиканцы, или пуэрториканцы. Вы уж не обижайтесь, но вы так на них похожи, что они, верно, приняли вас за своего.

Мы оба весело рассмеялись, хотя, кто знает, может, так оно и было.



Здесь хочется вспомнить один случай: я как-то высказал упрек в адрес американских студентов по поводу того, что они не знают советской литературы. Так вот, не думайте, что это свойственно только студентам или что я это придумал.

Однажды вечером профессор Засурский, Григорий Бакланов, Фрида Лурье и я сидели в маленьком ресторане. Рядом с нами, за соседним столом трое американцев пили виски и громко разговаривали, вернее, спорили о чем-то.

— Знаете, о чем они спорят? — сказал Ясен Засурский. (Он блестяще знает английский, настолько, что по произношению может определить, из какого штата родом говорящий.)

— О чем? — заинтересовались мы.

— Вон тот, маленький, говорит своим товарищам: русские превосходят нас тем, что читают о нас все, а мы о них ничего не читаем, вот и не знаем ничего...

Я убежден, что тот говорил не для того, чтобы мы его слышали.

Одно из наиболее примечательных зрелищ в Нью-Йорке — спиралевидный музей Гугенхейма, построенный архитектором Франком Райтом. Вернее, это даже нельзя назвать музеем, это сооружение, состоящее из выставочных залов. Когда мы были там, в трех нижних этажах производился ремонт, так что мы повидали не так уж много, однако несколько шедевров Шагала, Пикассо и Сальвадора Дали все же удалось посмотреть. Само здание построено — если привести очень грубое сравнение — по принципу нижней станции Тбилисской канатной дороги на Мтацминду... И каждому художнику на этой спирали отведен собственный, наполовину открытый блок, комната или камера. Необычайно просто, как и все гениальное.

Ну, ладно, скажу уж пару слов и о Белом доме.

Белый дом ничем не отличался от обычных небелых домов. В нем три этажа. На третьем этаже живет президент со своей семьей. Белый дом, так же

как и ООН, входит в туристские маршруты. Мы увидели длинную очередь туристов, желающих посмотреть на жилище президента. Однако нас как почетных гостей пропустили без очереди. Мы внимательно изучили все знаменитые овальные залы, мебель, посуду и подарки, полученные тем или иным обитателем Белого дома в бытность свою на посту президента. В этом отношении Белый дом ничем не выделяется и не может соперничать с дворцами Европы и Азии.

Как нам сказал гид, в первом этаже сначала помещалась конюшня, затем свинарник, потом снова конюшня, а позже — казарма. Сейчас там принимают наиболее выдающихся государственных деятелей разных стран.

Охрана президента провожает настороженным взглядом всех экскурсантов. В том числе, разумеется, и меня. Помнится, у меня закружилась голова, а я не рискнул полезть в карман за таблетками — как бы чего не подумали.

В охране я обратил внимание на удивительно стройную блондинку. На ней был редкостной красоты мундир, а крутое бедро украшал кольт. Вероятно, она была главной — так почтительно все заглядывали ей в глаза.

Из окна второго этажа я выглянул во двор. Высокий негр самой простецкой наружности поливал деревья. Я приветствовал его поднятой рукой и улыбнулся. Он тоже поднял руку и улыбнулся мне в ответ. Когда он поднимал руку, я заметил торчащий у него под мышкой, как термометр, револьвер с меня величиной.

Гид рассказывал: недавно какой-то мальчуган перелез через ограду и пустился бежать прямо к Белому дому. Охрана еле поймала его, такой он оказался прыткий. А когда его схватили, он заявил: очень уж хотелось посмотреть на президента и поиграть с его детьми.

— Ну, и чего же вы его не пустили, пусть бы себе посмотрел на президента и поиграл с ребятами, — сказал я.

— Да, мы сами сначала так решили, но, хорошенько поразмыслив, сообразили: этак Белый дом через неделю придется переоборудовать в детский сад,— с улыбкой ответил гид.

Возразить на это было нечего, он был прав.

Мне вспомнилась еще одна история, имеющая некоторое отношение к детям.

В Америке во многих магазинах и учреждениях стоят автоматы, разменивающие доллар центами. Кладешь в такой автомат доллар так, чтобы изображение президента находилось сверху, опускаешь ручку — и вместо бумажного доллара оттуда сыплется мелочь.

Оказывается, какой-то негр, голливудская кинозвезда, заказал себе в огромном количестве визитные карточки в форме доллара. «В форме», пожалуй, и не скажешь — эти визитные карточки представляли собою точную копию доллара, только вместо президента голливудский герой велел изобразить на них себя.

Ну, а эти бесенята — дети везде дети — попробовали разменивать эти визитные карточки в автоматах. Автоматы же охотно разменивали такие «доллары». Ибо, как выяснилось, автомат не отличает президента от негритянского киноактера и добросовестно разменивает визитные карточки, вовсе не интересуясь тем, кто на них изображен.

За неделю компания, выпускавшая эти автоматы, понесла большие убытки. Госдепартамент был вынужден просить кинозвезду прекратить выпуск визитных карточек, а те, которые дети уже успели разменять, были конфискованы государством.

Эту историю мне поведал хозяин магазина, где я разменивал доллар.

— Такие автоматы неграм следовало бы установить во время подсчета бюллетеней на президентских выборах,— посоветовал я. Хозяин магазина был негр. Он с сожалением покачал головой:

— Э-э, друг, где же ты раньше был?.. Я бы сейчас, может, на месте Картера сидел...

«Держи карман шире», — вертелось у меня на языке. Однако я сдержался: не хотелось совсем его разочаровывать.



Кстати, о детях. Американцы не на шутку встревожены тем, как обстоит дело в школе с математикой, да не то что с математикой — с элементарной арифметикой. Дело в том, что ни один ребенок не утруждает себя зубрежкой таблицы умножения или правил деления, вычислением процентов или извлечением квадратного корня. Все эти процессы они выполняют легким нажатием клавиш электронных компьютеров, миниатюрных вычислительных машин, которыми завалены все магазины. Стоят они очень дешево, и все американские ребятишки носят их в кармане как спичечный коробок. Таким образом, детей остается учить лишь тому, как обращаться с этими вычислительными машинками. На это уходит самое большее пятнадцать минут. А если ребенок способный, — то и пяти минут довольно.

Вообще американцы растят детей в атмосфере деловитости. Очень редко можно встретить американца, сюсюкающего со своим ребенком. Много времени уделяется спортивному воспитанию молодежи.

Как видно, американские руководители ничего не жалеют для того, чтобы вместе с прочими добродетелями культивировать в детях если не ненависть, то по крайней мере чувство превосходства по отношению к Советскому Союзу или страха перед ним. В большой и обширной программе пропаганды этому вопросу отведено не так уж мало места.

Был с нами такой случай: Григорий Бакланов, Ясен Засурский, Александр Косоруков и я совершали прогулку на маленьком катере по Сан-Францисскому заливу. Боцман объявил в рупор, что к нам приближается советский корабль «Максим Горький». Действительно, наш огромный белый лайнер входил в порт в сопровождении двух маленьких буксиров.

Когда «Максим Горький» проплывал мимо, находившиеся на катере американские ребятишки буквально освистали его. Мне стало так обидно, что даже сердце заболело. Потом, видимо, кто-то сказал им, что на катере находятся представители Советского Союза, потому что они немедленно перестали вопить и перешли к другому борту.

Немного погодя я спустился в буфет. Ребята тоже оказались там — стояли в очереди за кока-колой. Было их человек десять. Увидев меня, они почтительно уступили мне очередь. Обида вдруг прошла, и я купил им всем кока-колу. Сначала они смутились и наотрез отказались, затем, когда я успокоил их, заявив, что я — советский миллионер и денег у меня куры не клюют, весело засмеялись и взяли предложенный напиток.

Один спросил:

— А правда, что в Советском Союзе учителя бьют детей?

— А как же! — отвечал я.

— За что же их бьют?

— Вот за такие глупые вопросы, — сказал я и шлепнул вопрошавшего по мягкому месту. Дети окончательно развеселились.

— Вам понравился Сан-Франциско? — спросила какая-то девчушка.

— Нет, не понравился, — с напускной серьезностью ответил я.

— Почему? — удивилась девочка.

— Потому что целый день брожу по городу и никто ни разу не поздоровался со мной, — это вызвало у них еще больший смех.

— А вы правда хотите захватить Америку? — спросил вдруг мальчуган.

— Не скрою от вас — хотим! — признался я.

— Зачем? — насторожился он.

— Ну как же! Америка такая красивая и богатая страна, ты бы на нашем месте тоже не утерпел.

Я заметил, что мой ответ и обрадовал и озадачил их.

— А зачем вы хотите нас захватить? — спросил, в свою очередь, я.

— Мы? Мы вовсе не хотим, — отвечал он, смутившись.

— Вот и слава богу, мы тем более не хотим, — я протянул ему руку.

Он протянул мне свою, я крепко пожал ее, прибавив:

— Смотри, уговор дороже денег!

— Уговор дороже денег! — отвечал он, улыбаясь. Мы поцеловались.

Катер тем временем завершил свой маршрут и стал у пирса. Мальчик вприпрыжку сбежал на берег.

Так в мае 1978 года в порту Сан-Франциско я заключил с подрастающим поколением Америки договор о взаимном ненападении. Дай бог, чтобы ни одно поколение не нарушило этого соглашения.

Одно время в своих фельетонах я вовсю насмеялся над авторами путевых заметок: «Не успел наш серебристый лайнер подняться в воздух, как я вспомнил родную Грузию и чуть не разрыдался от тоски по дому...».

Зря я так, друзья мои, очень зря. И теперь, с опозданием на двадцать лет, я приношу этим людям свои извинения. Правда, не в Шереметьевском аэропорту, а к концу двадцатидневного путешествия, когда мы вернулись в Нью-Йорк и нам предстояло провести еще три дня в этом, уже раз виденном, огромном городе, у меня началась настоящая ностальгия. И приглашение в нью-йоркское советское консульство оказалось очень своевременным.

Если бы кто-нибудь видел нашу встречу с аккредитованными в США советскими людьми, он был бы тронут до глубины души.

Безграничная радость, объятия, поцелуи, ну и немного — слезы... Мы устроили небольшой литературный вечер и поделились с соотечественниками своими впечатлениями об Америке.

Начало моего выступления потонуло в дружном хохоте. Звучало оно, оказывается, так:

— Мои дорогие, любимые соотечественники, дорогие мои грузины...— Что я говорил, о чем рассказывал потом, я уж и не помню как следует.

Не хотелось бы закончить эти записки, совсем ничего не говоря о существующих в США расовых проблемах. Правда, обширными сведениями по этому вопросу я не располагаю, ибо в течение крайне перегруженного двадцатидневного путешествия у меня не было ни времени, ни возможности заняться вплотную



этой труднейшей проблемой, но нельзя не упомянуть о том, что само бросается в глаза.

В США явно ощущается расовая дифференциация. На самой верхней ступеньке этой расовой иерархии находятся, разумеется, американцы англо-саксонского происхождения. В самом низу — индейцы, пуэрториканцы и негры.

В общем, у меня осталось такое впечатление: нынешняя Америка напоминает уставленную черными и белыми фигурами гигантскую шахматную доску. Играют белые и черные. Правда, пока партия протекает с явным преимуществом белых, но этот турнир очень напряженный, сложный и длительный. Никто не знает, когда и как он завершится...

1978



## ЗА БЕССМЕРТИЕ РОДИНЫ!

В канун Нового года многие из нас вспоминают год минувший. Мне вспомнилось первое января 1942 года.

...Двор Чохатаурского районного клуба был полон народом. Толпились дети, старики, молодые парни, незамужние и уже обреченные на вдовство девушки. Чего скрывать — плакали многие, в том числе и мужчины: люди шли на смерть. Их призвала Родина, они и шли.

Сельчане собирались группами. Мы, хидиставцы, стояли кучей в углу двора, обменивались своим горем, своей болью.

— Слыханное ли дело — идти в армию в самый Новый год? — спрашивал один.

— А война не разбирает — что новый, что старый год, — объяснял другой.

— Господи, крыши обрушатся, во всем селе не остается мужика, чтоб счистить с них снег! — пожаловалась молодуха.

— А ты иди на ночь ко мне, Жужуна, спасу тебя от гибели и отопрею к тому же! — пригласил ее сосед.

— Не быть тому, Гервасий-недоносок, истреби Гитлер хоть всех мужчин на свете! — отбрила Жужуна.

— Шушуни идет! — крикнул вдруг кто-то, и все как один обернулись к воротам. Под руку с молодой женщиной к нам приближался парень лет 24—25.

В другой руке женщина держала красивый пандури<sup>1</sup>.

— Сам выточил! — произнес тот же голос.

Я не поверил собственным глазам — Шушуни Таварткиладзе был от рождения слепым.

Женщина подвела Шушуни к нам. Народ молчал. Лишь с другого конца двора доносились резкие выкрики фамилий и смущенные:

— Здесь!

Безмолвный, с побледневшим лицом стоял Шушуни, окруженный односельчанами, и с угасших его глаз катились слезы. Было нечто божественное в этой бледности лица, в этих слезах. И тогда отделилась от толпы облаченная в глубокий траур по погибшему на фронте сыну Дарья Джинчарадзе, второй сын которой шел в армию завтра, подошла к Шушуни и попросила:

— Слушай, парень, скажи нам чтонибудь...

Спутница Шушуни подала ему пандури. Тот легко перебрал струны и начал:

Зачем ты плачешь, сын мой любимый?  
Горе какое стеснило грудь?  
Крепись и беду встречай ты смело,  
Забудь про слезы, про боль забудь!

Это стихотворение Важа Пшавела я услышал тогда впервые. Меня мороз пробрал по коже, и я присел прямо на снег. А Шушуни продолжал:

Врага-пришельца бей до победы,  
Бей, пока сердце бьется в груди!  
Помни завет и обычай предков —  
Врага гони, убей, победи!

Шушуни кончил петь и опустил руки. Никто не проронил ни слова. Молчание длилось долго. Наконец к Шушуни подошел молодой парень и так же молча поцеловал ему руку. За ним и другие, уходящие в армию парни по очереди подходили к Шушуни и целовали ему руку.

---

<sup>1</sup> Пандури — грузинский народный музыкальный инструмент.



— Ребята, заклинаю вас, возвращайтесь живыми! — бормотал сквозь слезы Шушун.

Никто из них не вернулся.

...С тех пор прошло 35 лет. Было много новогодних дней — и добрых и печальных. Много мы построили, многому научились, многое забыли... Недавно я накричал на продавщицу в хлебной лавке — как, мол, вам не стыдно, продаете хлеб утренней выпечки! А потом мне до того стало стыдно своих слов, что я вернулся в лавку и вместо одного купил два хлеба. Молоденькая продавщица обалдело взглянула на меня — она не знала, что такое война.

А нам еще раз напомнили про ужасы войны священные останки Неизвестного солдата, перенесенные в Тбилиси из Керчи. Много было пролито в тот день слез, застывших в глубине души еще с тех далеких дней.

Светлая память ему! Да будет навеки святой могила его! Мне не хочется навязывать другим свою печаль. Поэтому ниже разговор пойдет о счастье.

Я воспринимаю как великое счастье тот факт, что моему народу, моей республике возвращается былая слава, которую мы чуть было не растеряли благодаря нашей же беспечности, бесхозяйственности, нашему благодушию и нежеланию смотреть правде в глаза.

Я воспринимаю как великое счастье упрочившуюся сегодня в республике тенденцию выдвижения на партийную, советскую и хозяйственную работу исключительно честных, образованных, добропорядочных, гуманных людей, до конца преданных принципам демократизма.

Мне доставляет счастье огромное внимание, уделяемое в последние годы партией и правительством деятелям нашей литературы и искусства.

С чувством искренней благодарности читаю я постановление о работе с молодежью, проникнутое подлинной отеческой заботой.

Я счастлив, читая наши журналы — «Мнатоби» и «Цискари», «Дила» и «Пионери», «Саундже» и «Критику», «Рицу» и «Чорохи», «Литературную Грузию» и

«Советское искусство», издания «Мерани», «Советской Грузии», «Накадули», «Ганатлеба» и других издательств, ибо Грузия не помнит такого изобилия источников мудрости.

Счастливы грузинские писатели, для которых учреждены ежегодно пять премий по различным жанрам литературы и еще одна — имени великого Галактиона!

Счастлив каждый грузинский деятель искусства, который знает, что за подлинный талант и творчество его ждет государственная премия имени Руставели.

Я счастлив, зная, что для моего внука в ущелье речки Вэре строится солнечный городок с собственной железной дорогой.

Я счастлив сознанием того, что могу торжественно отпраздновать вековой юбилей моей «Родной речи» и поднести цветы к памятнику книге — «Родной речи».

И еще я счастлив потому, что могу обо всем этом во весь голос сказать своему народу.

...А вспомнил я про Новый год сорок второго года потому, что неделю тому назад, то есть спустя 35 лет после того памятного дня, открылась дверь моей рабочей комнаты и неизвестный парень ввел седовласого, симпатичного мужчину. Тот остановился посреди не комнаты и сказал:

— Я хочу видеть Нодара, Нодара Думбадзе!

У меня чуть сердце не выпрыгнуло из груди: передо мной стоял Шушуни Таварткиладзе.

— Здравствуйте, уважаемый Шушуни! — произнес я.

Шушуни удивился моей памяти. Удивился и тому, что я знал все о нем — о том, что он стал чудотворцем, что не существует предмета, образца искусства, орудия или любой другой вещи, которую бы не могли сотворить его умные, мозолистые руки.

— Что вас привело ко мне, уважаемый Шушуни? Или нужда какая?

— Нет у меня никакой нужды, — ответил он спокойно, — просто не хотелось умереть, не увидев тебя, — и он нежно погладил меня по лицу.

Признаюсь, я был рад тому, что в тот миг сей святой человек не видит меня.

— Через два дня — Новый год. Благословлю тебя и уйду!

И он произнес свое благословение, которое я при-  
вожу здесь с той лишь разницей, что упоминание  
в нем меня, моих родителей и моей семьи я заменяю  
вами и моей республикой, ибо вы — это для меня  
все:

— Силы небесные, творец, ниспошли моему наро-  
ду, моей Родине счастливый Новый год! Избавь их от  
всякой болезни и напасти! Одари их силой, здоровьем,  
талантом и бессмертием твоим! Да ослепнет глаз,  
взирающий на них с завистью! Да оглохнет ухо, жа-  
ждущее услышать дурное про них! Да отсохнет рука,  
поднявшаяся на древо жизни моего народа! Одари  
счастьем колыбель и кормящую грудь народа моего!  
Да будут полны солнцем и теплом жилища тружени-  
ков наших, хлебом — амбары наши, вином — погреба  
наши, скотом — коровники и хлева наши, добром и  
любовью — сердца наши! Да не умолкнет в наших  
дворах гомон детей, внуков, правнуков наших и их  
детей! Теки неиссякаемой рекой, счастье наше! И да  
умножатся в моей стране люди умные и сведущие, па-  
стыри добрые республики своей! И пусть каждый тру-  
женик, проснувшись утром Нового года, найдет у из-  
головья чудодейственный талисман, дабы пожелать  
добра и бессмертия своей Родине!

Прими, земля моя, это благословение!



## РОДИНА

— Думбадзе? Встань и ответь мне на вопрос, что такое Родина? — вызвала меня учительница.

— Родина?.. Родина — это место, где я родился и...

— Еще? — настаивала учительница.

Я думал.

— Садись, Думбадзе, — сказала учительница, поняв, что ответа от меня не дождется.

— Не ставьте мне двойку! Пожалуйста, не ставьте... Я знаю, но объяснить не могу, — попросил я учительницу и заплакал. Заплакал потому, что слыл в классе отличником и, по моему разумению, должен был знать все. Помню, учительница еле успокоила меня. Потом она познакомила нас со стихотворением Рафаэла Эристави «Родина хевсура» и задала выучить его наизусть.

После этого прошло лет тридцать. Я стоял на границе с подчиненным мне солдатом. За маленькой речушкой и мостиком была уже другая страна.

— Вот ты, — сказал я солдату, — стоишь тут с карабином и сторожишь такую громадную нашу страну. Какое у тебя ощущение? Что ты думаешь? Представляешь ли, что такое Родина? Только не отвечай мне штампованными или высокопарными фразами. Скажи чистосердечно, как ты думаешь, как понимаешь...

Какое-то время солдат глядел на берег и тихо ответил:

— Какое счастье, товарищ лейтенант, что мы с вами родились по эту сторону моста...

Свое существование человечество делит так: до потопа и после него. Далее у одной части человечества, а именно у христиан, появилась новая метрическая запись, и люди стали вести счет времени от рождества Христова. Но есть народы, обитающие на одной шестой части нашей планеты, их объединяет магическая надпись на карте мира — Союз Советских Социалистических Республик, которые имеют свою собственную новую метрику. И счет они ведут от новой даты рождения — от Великой Октябрьской социалистической революции.

Моей родине, моей Советской Грузинской Республике исполнилось 60 лет. И я тоже попадаю в эту орбиту, поскольку мне уже за пятьдесят. И вся моя жизнь и жизнь нескольких поколений трудящихся республики связана с наступившим шестидесятилетием: первая автомобильная дорога, первый троллейбус, первая доменная печь, первая чайная фабрика, первый химкомбинат, первые НИИ, первое высотное здание, первые телевизор, метро, космонавт и многое другое «первое», вошедшее в рамки этих шестидесяти лет.

Но если я начну счет с них, то куда девать созданные до нашей эры выставленные в музеях экспонаты: орудия производства и утварь, военные колесницы, металлургические печи, украшения, керамику? Что делать с ванскими и армазскими раскопками, полифоническими гимнами языческих времен, древней азбукой, походными стягами, крепостями и храмами? С «Мравалжамьер» — застольной песней, которая распевается уже тысячелетия, — что прикажете делать?

Выходит, что Родина — это какой-то удивительный феномен, у которого так же, как у матери, нет возраста. И так же, как мать, она вечна. Выходит, что Родина каждый день рождает новое и рождается для

нас, а сама никогда не умирает, потому что бессмертна.

И все-таки — что такое Родина?

Может быть, это в самом деле то, о чем поведал в «Родине хевсура» поэт Эристави: скалы Родины не променяю на рай чужой земли. Или это стихи Акакия, Ильи, Важа? Или «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели? Или любимая песня народа «Ты есть виноградник»?

Или, может быть, виноградная лоза — Родина? А ну-ка всмотритесь: если лоза стелется низко, гроздья надо собирать, стоя на коленях. Если вьется по дереву, руки приходится вытягивать вверх. Обе позы будут выражать поклонение, а кто, как не Родина, достойна поклонения?

Рождение первого социалистического государства — и тут же интервенция, гражданская война, тиф, холера, чума; Отечественная война: покрашен в темные тона от бомбежки белый храм науки, мой университет. Потом голод, холод, очереди. Мои ровесники — Зоя, молодогвардейцы, другие ребята — на виселицах, сброшены в шахты, прикрывают своей грудью амбразуры дзотов... К соседям приходят похоронки... Затем первые вестники поражений ненавистного врага — пленные немцы. В городе появились наши фронтовики на костылях. Это забыть нельзя... Не то что нельзя — невозможно...

Вспоминаю стихи Маяковского:

Можно  
забыть,  
где и когда  
пузы растил  
и зобы,  
но землю,  
с которой  
вдвоем голодал,—  
нельзя  
никогда  
забыть!

Одно точно: наши лета были годами непрерывной борьбы, годами творческого горения, бесконечного



стремления к будущему, к необозримым высотам, к созиданию, годами и нового, неслыханного оптимизма и неистребимого желания познать себя и вселенную. Они несли такой заряд, вмещали столько событий и явлений, что всего этого хватило бы на века.

Родина и праздник. За последние десять лет восемь раз подряд республике вручали всесоюзные переходящие красные знамена. Далеко за пределами Грузии признаны ее театр, кино, живопись, музыка и литература.

Столько мы пролили пота и крови за эти шестьдесят лет, столько построили и сделали, что шестьдесят летописцев за шестьдесят лет не могли бы описать всего. Чего только стоит то, что уже почти сорок лет над нами спокойный купол неба? Стоит и не рухнет. Разве это не Родина?

Что еще Родина?

С самолета, внизу, грива Кавказского хребта — и в горле застревает ком. Это — Родина.

Еще: телята, цыплята, дерево ореховое на поле, арба, топор, земля, которую берешь в руки, и жалко ее сбросить с руки...

И еще — маленькая тбилисская улица, по которой за день не успеешь дойти до конца: столько встречешь по дороге знакомых, друзей. И каждый непременно должен расспросить и сам рассказать, обласкать и быть обласканным.

Что еще? Твоя деревня, в которой не можешь жениться, потому что каждая девушка здесь тебе сестра. Невесту надо искать в другой деревне.

Как видно, Родина — это все то, без чего жить нельзя.

Спросил я свою любимую Бабушку (вы должны ее помнить, если помните Илико и Иллариона):

— Может быть, ты мне скажешь, что такое Родина?

— Кабы я знала, сынок!.. Наверное, Родина — это жизнь. Человек уходит из жизни всегда с сожалением.

нием, не насытившись ею. Родиной насытиться невозможно.

...Встал я, вышел на улицу. Людей на наших южных улицах, как всегда, полно.

— Друг, остановись на минуточку. Сегодня Грузинской Советской Социалистической Республике, твоей Родине, исполнилось шестьдесят лет. Ответь, что ты ощущаешь, переживаешь в данную минуту? И вообще, что такое Родина? — спрашиваю я прохожего.

— Меня спрашиваете? — изумляется он.

— Да, вас. Знаете ли вы?

— Как не знаю! Но так, вдруг, не задумываясь, на улице?

— Да, вот так, не задумываясь, на улице.

— Вот так, вдруг, не задумываясь, можно умереть за Родину. Но ответить, что это такое, невозможно, — говорит он и быстро удаляется.

1981

---

## ГОЛОС ДОБРЫЙ

Дорогие друзья!

Здесь присутствуют и выступали уважаемые люди, которыми гордятся наш народ, наша страна. Это — люди, стоявшие лицом к лицу с жестоким врагом. И, конечно же, фронтовыми воспоминаниями их не удивишь. Скорее всего, им более интересно узнать о том, что тогда происходило в тылу, что чувствовали мы, тогдашние дети, на что взирали наши удивленные глаза в течение четырех лет, воспоминания о которых и сейчас живут в нас, вызывая чувство ужаса.

Я не буду говорить от имени тех безвестных воинов-грузин, вечный огонь на могилах которых неугасимым пламенем горит в моей груди.

Я сегодня буду говорить от имени осиротевших в те годы тысяч грузинских мальчиков и девочек.

Сегодня, спустя тридцать лет, я выступаю перед вами от имени семисот тысяч грузин, абхазцев, осетин, армян, азербайджанцев, ушедших из моей маленькой республики на фронт, более трехсот тысяч из которых навеки нашли себе покой в братской могиле рядом с теми, кто ценою собственной жизни спас нашу жизнь.

Я знаю — сегодня не траурное собрание. Сегодня мы празднуем тридцатую годовщину Победы над фашизмом. И поэтому полагалось бы говорить скорее



на темы радостные, говорить о Победе. Но я не могу не сказать о смерти, слезах, голоде, о холоде и лишениях, ибо судьба человечества и цивилизации, завтрашний день моих дочерей зависят от того, что сегодня скажут люди, создающие для них материальные и духовные богатства. Я не могу не говорить о такой могучей и миролюбивой стране, какой является моя Родина — Союз Советских Социалистических Республик.

Война на моей улице началась так: в жаркий полдень 22 июня 1941 года перепуганный цхнетский молочник постучался к нам в дверь и с ужасом сообщил, что Иуда — Гитлер начал войну против нас. Мне было тогда 12 лет. Весть молочника ничуть не испугала меня. Наоборот, я успокоил его и твердо обещал, что в течение 2—3 дней фашизм будет уничтожен. Конечно, я надеялся не на себя и на парней нашей улицы, а на родную Красную Армию и прежде всего на конницу Буденного.

...С тех пор я нашего молочника не видел, а те 2—3 дня, в течение которых я предсказал уничтожение фашизма, превратились для меня в нескончаемые четыре года. Мы, дети, видели, как постепенно вошли в наш дом голод, холод, «похоронки», а затем — наше преждевременное возмужание, ожесточение, чувство ненависти к врагу и мечта о возмездии.

Я помню, как зимой 1941 года на станции Навтлуги вылавливали сбежавших на фронт мальчишек, старшему из которых было не более 14 лет. Мальчики вырывались из рук патрулей, царапались, кусали их руки...

Я помню русских сестер милосердия, привозивших с фронта изувеченных грузинских парней. Помню девушек, связавших свою судьбу с этими парнями, и сейчас, спустя 30 лет, я с огромным уважением вспоминаю тех русских «сестриц», ставших грузинскими матерями.

Вот это и есть подлинный героизм — сочувствие, человеколюбие, дружба народов.

Я помню привезенных из блокированного Ленинграда голубоглазых, белокурых мальчиков и девочек, игравших с толпою черномазых и чернооких своих сверстников, смешно коверкавших грузинские слова и называвших своих новых матерей по-грузински — «дэда».

Я помню наших грузинских писателей — исхудавших, бледных, с окаменевшими лицами покидавших Дворец союза писателей и по Военно-Грузинской дороге направлявшихся на фронт. Потом мы, дети, пели их стихи, написанные кровью в окопах. Некоторые из них сегодня находятся здесь, в этом зале. А сколько их пало на полях сражений — молодых, талантливых, людей самого гуманного призвания и профессии! А сколько в те дни ушло на фронт и не вернулось наших художников, композиторов, артистов...

...И сейчас, спустя 30 лет, я — их сын, брат, друг, наследник и потомок — выступаю перед вами от их имени.

Тогда все знали: чудес на свете не бывает, следовало бороться, а не ждать милости всевышнего. Но чудо все же свершилось. И было этим чудом искусство, искусство военного времени — слово, музыка, кисть, и тяжелое бремя войны несли именно бойцы искусства.

Вы спросите: в чем дело, откуда столь высокая оценка роли литературы и искусства? Отвечаю: от «Василия Теркина», от книг Михаила Шолохова, от «Повести о настоящем человеке» Полевого, от Фадеевской «Молодой гвардии», от плаката Тоидзе «Родина-мать зовет!», от гениальной песни «Священная война», от удивительного стихотворения Абашидзе «Капитан Бухаидзе»...

Сознание того, что наш народ ведет справедливую Отечественную войну, вдохнуло в нас величайшую ду-

ховную дисциплину, невиданное желание стать плечом к плечу со страной, с армией.

Война стала подлинной школой для нас, строжайшим испытанием твердости нашего характера, дружбы наших народов. Слова «я» и «мое» как-то незаметно трансформировались во всеобъемлющие слова «мы» и «наше».

Мы знакомы с интернационализмом не по словарям — ни один словарь в мире не вместит и не объяснит величайшего чувства братства наших народов, родившегося на почве Великого Октября, возмужавшего в годы Отечественной войны и, словно великан, шагающего сейчас по всей нашей необозримой стране.

Года два тому назад на Полтавщине «красные следопыты» обнаружили братскую могилу, в которой лежат солдаты-пограничники 92-го полка вместе со своим командиром капитаном Мирзашвили. В той могиле — дети почти всех национальностей, населяющих Советскую Родину. Жители и особенно матери города Лубны попросили родственников капитана Мирзашвили не переносить его останки в Грузию, потому что эта могила давно уже стала святым местом для жителей украинского города.

Вот что такое братство и дружба народов, интернационализм!

Товарищи!

Хоть я и писатель, но даже на языке писателя не могу подобрать синоним гуманизма, синоним человеколюбия к народам и государствам, которые наша страна проявила после всех бед и страданий, испытанных в годы второй мировой войны.

Именно наш народ, воспитанный на ленинских идеях пролетарской солидарности, гуманизма и интернационализма, является инициатором всех гуманных начинаний в сегодняшнем бурлящем мире. И, без сомнения, в этом и кроется причина того, что все больше и больше тянутся к нам народы мира, жаждущие свободы, спокойного труда и счастья.



К священной теме войны следует относиться с исключительной осторожностью, чуткостью и уважением, дабы не обесценить ее в глазах нашей молодежи и грядущих поколений.

Однажды один мой друг сказал мне, что каждому погибшему в Отечественной войне солдату следовало бы присвоить звание Героя Советского Союза. Мне кажется, в этих словах проявляется великая и святая истина.

Я далек от желания запугать нашу молодежь. Да и не запугаешь ее, достойно шагающую по героическим следам отцов. Я хочу лишь попросить их не забывать, что фашизм подобен злокачественной опухоли: отцы наши однажды уже удалили ее, но ее метастазы несколько раз давали знать о себе миру. Удалить их следует именно молодежи. Это не страх перед фашизмом. Это — ненависть к фашизму. Да живет навеки эта ненависть на свете во имя всеобщего счастья, мира и любви! Да прислушается мир к доброму и могучему голосу моей страны — голосу мира, любви, счастья!

1975

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАССКАЗЫ

*Перевод З. Ахвледiani*

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Собака . . . . .        | 7  |
| Неблагодарный . . . . . | 24 |
| Не буди! . . . . .      | 41 |
| Коррида . . . . .       | 58 |
| Кровь . . . . .         | 66 |
| Солнце . . . . .        | 77 |

### ПОВЕСТЬ

|  |    |
|--|----|
| Кукарача. <i>Перевод З. Ахвледiani</i> . . . . . | 93 |
|--|----|

### ПУБЛИЦИСТИКА

|  |     |
|--|-----|
| Возвращение Одиссея. <i>Перевод А. Златкина</i> . . . . .    | 165 |
| За бессмертие Родины! <i>Перевод З. Ахвледiani</i> . . . . . | 205 |
| Родина. <i>Перевод З. Ахвледiani</i> . . . . .               | 210 |
| Голос добрый. <i>Перевод З. Ахвледiani</i> . . . . .         | 215 |

**Думбадзе Н. В.**

Д 82

Голос добрый: Пер. с груз./Ил. Е. М. Марковича.— М.: Правда. 1984.— 224 с., ил.

В книгу известного грузинского писателя, лауреата Ленинской премии Н. В. Думбадзе вошли произведения, повествующие о жизни советских людей как в мирное время, так и в тяжелые годы войны (рассказы «Собака», «Кровь», «Неблагодарный» и др., повесть «Кукарача»), а также публицистические очерки («За бессмертие Родины», «Голос добрый» и др.). В очерке «Возвращение Одиссея» автор делится своими впечатлениями о Соединенных Штатах Америки, которые он посетил в 1978 году в составе делегации советских писателей.

Д  $\frac{4702170200-993}{080(02)-84}$  993 — 84

84 Гр



**Нодар Владимирович ДУМБАДЗЕ**

**ГОЛОС ДОБРЫЙ**

*Рассказы. Повесть. Публицистика.*

Редактор

**Л. М. Кроткова**

Оформление

**С. Н. Оксман**

Художественный редактор

**В. В. Масленников**

Технический редактор

**Т. Б. Слизун**

**ИБ 993**

---

Сдано в набор 26.07.84. Подписано к печати 30.08.84.

Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага книжно-журнальная.

Гарнитура «Литературная». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 11,97. Уч.-изд. л. 10,46.

Тираж 500 000 экз. (2-й завод: 100 001—200 000)

Заказ к-348. Цена 80 коп.

---

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина

и ордена Октябрьской Революции типографии

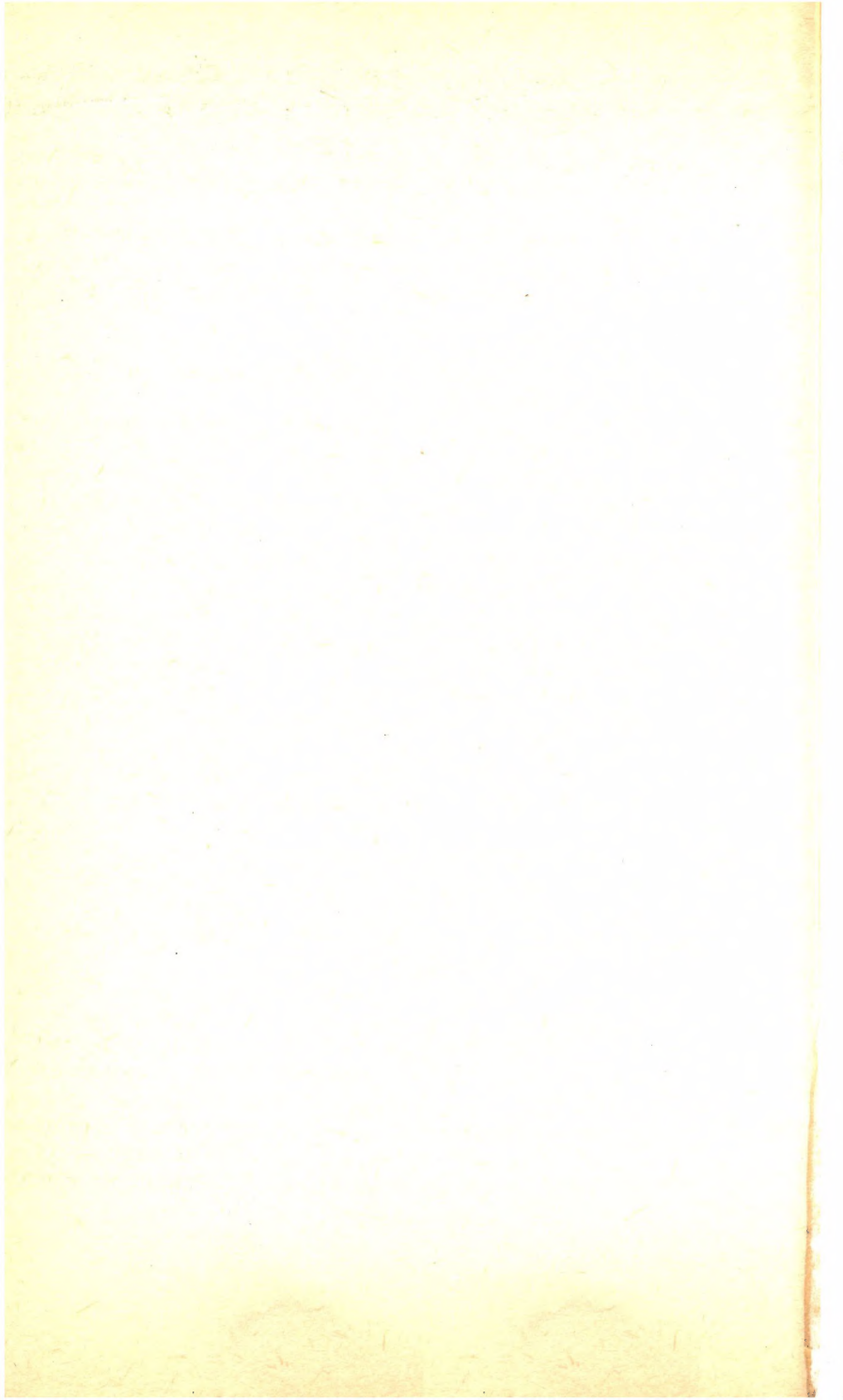
газеты «Правда» имени В. И. Ленина.

125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

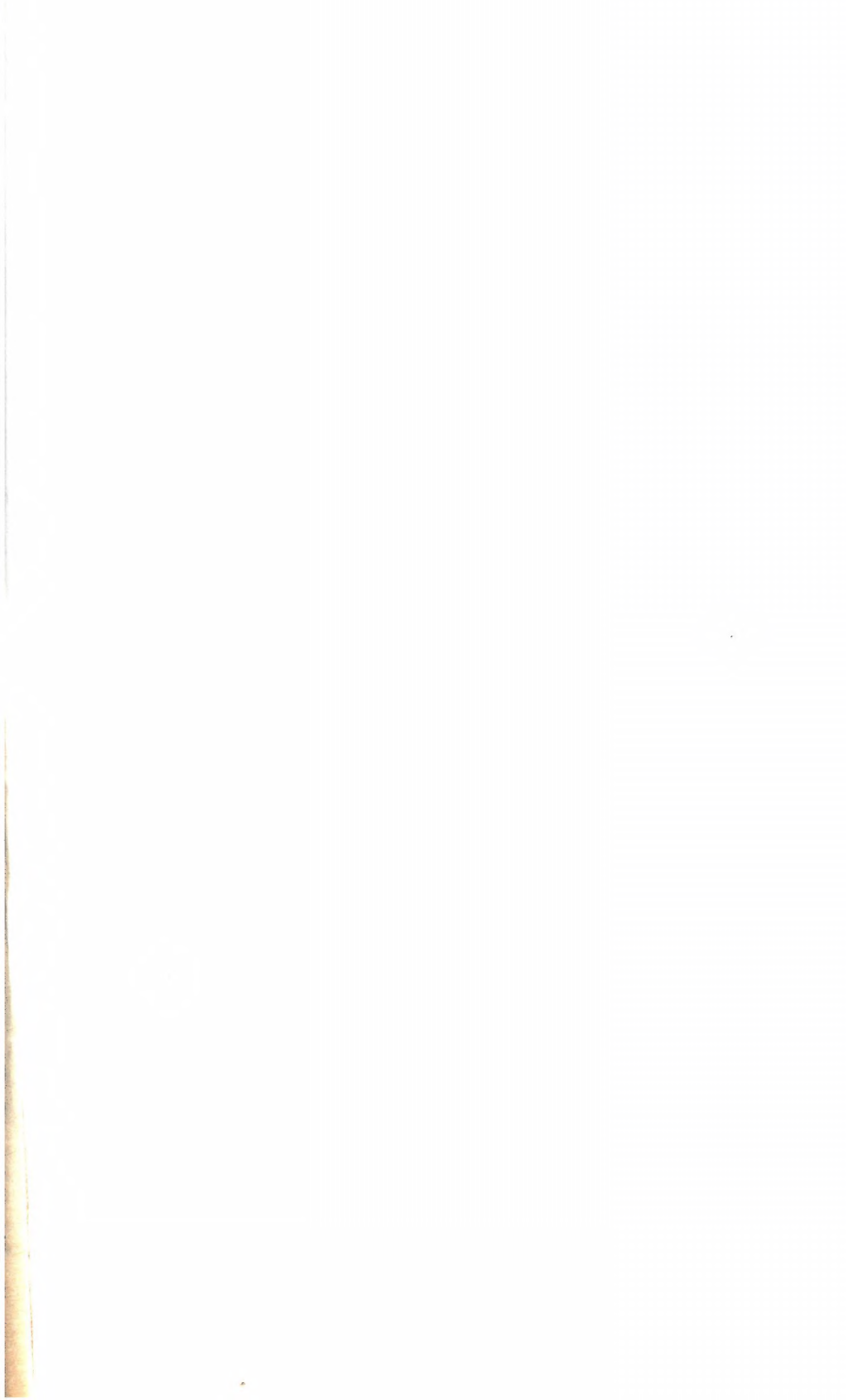
---

Отпечатано в типографии издательства Татарского  
обкома КПСС. 420066, Казань-66, ул. Декабристов, 2.









80 коп.

# Don't miss this show

# FREE